

ИЛЬЯ  
ЦУХОВ

**ДОРОГА  
К  
ДОМУ**



ИЛЬЯ  
ШУХОВ

ДОРОГА  
К  
ДОМУ

Повесть и воспоминания



АЛМА-АТА  
«ЖАЗУШЫ»  
1988

ББК 84 Р7 -5  
III 98

Рецензенты:

*Н. Потахина, член СП СССР, Ю. Плашевский, член СП СССР*

Ш 4702010200-209  
402(05)-88 143-88

ISBN 5-605-00143-4

© Издательство «Жазушы», 1988 г.



## ДОРОГА К ДОМУ

Лето для Шумиловых выпало нескладное. Не задалось еще с мая, когда их младший, Миша, захворал после загородной прогулки с одноклассниками в честь окончания учебного года. Дело попахивало больницей, и Кирилл с Верой приуныли было, но бог миловал.

Пришлось, правда, пожертвовать школьным лагерем, куда ввиду семейной ситуации намеревались определить Мишу, хотя какая это была жертва, если школа за прошедшие месяцы и так порядком вымотала его, а тут опять — в каникулы-то! — изо дня в день спаряжайся туда, только без портфеля.

Ситуация же заключалась в том, что старшему сыну, Аркадию, предстояли экзамены на аттестат зрелости, или, как с недавних пор почему-то прозаично стали его именовать, — аттестат об окончании средней школы.

Кирилл и Вера работали, Миша жил с ними, в новой квартире, а Аркадий — в другом районе, ближе к центру, у бабы Лены — Кирилловой матери.

Баба Лена, типичная представительница современной формации высококультурных, пристрастно следящих за книжно-журнальными новинками, активно не поддающихся пенсионному возрасту горожанок, кому вовсе не идет это архаичное, домашнее «бабушка», относилась к родственным обязанностям строго функци-

шально. Старший внук жил у нее потому, что отсюда до школы было рукой подать, и навещал родителей только по воскресеньям. В будни же его общение с ними сводилось к стереотипным ежевечерним телефонным переговорам, заканчивавшимся взаимными пожеланиями спокойной ночи. Однако, переговорив, Аркадий не торопился ко спу, сибаритствовал: читал за просторным ледовым столом, с особым интересом — фантастику и детективы в «Искателе», непременно жуя при этом что-нибудь «вкусненькое». Бабе Лене, которая и сама обычно возилась допоздна, загнать его в постель удавалось лишь после многословных уговоров, внушений и препирательств. По утрам же Аркадий любил понежиться, вставал всегда «под завязку», и в кухне его ждали стакан с теплой кипяченой водой и зубная щетка с заботливо выдавленным из тюбика червячком ароматной гигиенической пасты.

Вопрос о Мише долго обсуждался, и наконец договаривающимися сторонами было решено определить его на временный постой к той же бабе Лене. Вера доставила сюда Мишу утром, по пути на работу, когда Аркадий еще почивал, а баба Лена только что вернулась с очередного занятия в группе здоровья, которую посещала весьма пунктуально вот уже третий год.

Миша, прильнув к окну дедова кабинета, помахал Вере ладошкой, и с этого момента бабе Лене пришлось переключиться с телефонного контроля за состоянием здоровья меньшего внука на вполне конкретный, куда более обязывающий и хлопотный.

Сначала все шло как будто нормально. Аркадий корпел над учебниками, а нешумливый Миша возился себе в другой комнате, стараясь не отвлекать брата, о чем баба Лена нейтральным тоном информировала родителей. Однако уже на третий день в голосе ее стали раздаваться металлические нотки. То и дело отрываясь от трубки, она кричала в глубину комнаты:

— Да что за черт, когда это только кончится? Прекратите немедленно!

И негодующе комментировала в трубку:

— Все бы ничего, так вот надо же было старшему придумать какую-то дурацкую игру: стукаются лбами да прямо вовсю! Аркадий, перестань же наконец, кому я говорю!

Вера или Кирилл звали его к трубке и, апеллируя к далеко не младенческому уже возрасту, твердили про

серьезность и трудность близких выпускных экзаменов.

Понятное дело, братцам нужна была разрядка: ну-пробуй-ка посиди безвыходно столько часов. Бывает, и взрослые, солидные дяди, оставшись наедине сами с собой, даже и в учрежденческом кабинете, возьмут вдруг да что-нибудь и отчебучат — чечетку спляшут или, глядясь в застекленный шкаф, сами себе гримасы зверские станут корчить.

Но беспорядка и суеты баба Лепа не терпела, и вскоре, после первого экзамена, по ее предельно накаленному тону родители поняли, что надо забирать Мишу домой, пусть побудет один, ему не привыкать.

Вечером, когда Кирилл с Верой зашли за Мишай, только что вернулся с консультации радостный Аркадий: узнал про пятерку за сочинение, причем нашли его лучшим из лучших.

Однако долго радоваться было некогда: предстояли экзамены по физике и химии, а тут, известно, краснобайством не отделаешься. Пришлось как следует попыхтеть над формулами, задачами и другими скучными премудростями, к каким душа его никогда не лежала. И, наверное, поэтому, когда оба заковыристых предмета Аркадий наконец одолел, кое-как сдав их на четверки, он окончательно решил, что этикне науки не по нему, и настроился поступать в институт иностранных языков — к удовлетворению бабы Лепы, считавшей выбор правильным: в роду шумиловском — в обозримой ретроспективе — никто точными науками не занимался. Вера же отнеслась к этому скептически, желая для сына более серьезной профессии, а Кирилл принял новость без огорчения. Все естественно — куда же еще поступать, как не в иняз, коли целых десять лет проучился в единственной на весь город школе с французским уклоном?

Но вот три с лишним угарные недели миновали, и на выпускном вечере, куда явились Кирилл с Верой и Мишай, пришла и баба Лена, бойкая директриса в пышном парике произнесла, как положено, мажорную речь, которую с должным вниманием под всевозрастающий ропот и гул занятой выпускниками галерки выслушали сидящие впереди папаши и мамаши, дедушки и бабушки.

Кирилл и сам когда-то учился в этой же школе, считавшейся лучшей в городе. Школа была тогда мужская (совместное обучение ввели позднее), а директорствовал — и даже жил в одном из приспособленных под

квартиру классов, говорили, еще с довоенных лет — Агей Филиппович Жиляков, полный, представительный мужчина, которого ученики побаивались. И посейчас помнится: стояло только на перемene плотной директорской фигуре показаться в конце длиннущего коридора, как гвалт и беготня мгновенно прекращались. А Кирилл почему-то робел, даже когда директор улыбался.

На этой самой сцене, с которой сейчас вешала бойкая директриса, Кириллу вручали похвальную грамоту за четвертый класс, он должен был что-то сказать в ответ, но смешался, горло перехватила судорога, щеки задергались, и он не смог произнести ни слова. Тогда Агей Филиппович подхватил его, прижал к груди и, погладив по голове, сказал:

— Оп у нас еще маленький...

И еще хорошо запомнилось Кириллу — ему шел тогда уже четырнадцатый, — как хмурым мартовским днем Агей Филиппович, плачущий, что совершило всех потрясло, вошел среди урока в класс и тихим, засекающимся голосом объявил о том, что умер Сталин...

Кирилл тряхнул головой, и слух его снова стал сверлить металлически-въедливый голос директрисы. Она читала по бумажке про успехи выпускников, их образованность и сознательность, благодарила шефов, чей представитель — молодой неулыбчивый, поблескивающий медалью офицер — сидел тоже в президиуме, и все выходило чинно и благородно, и первые ряды привычно аплодировали, а нетерпеливая галерка шумела все сильнее и хлопала невпопад.

...Наконец директриса завершила спич и предоставила слово француженке Нине Макаровне, классной руководительнице Аркадия. Ребят опа знала, как знала бы своих собственных, будь они у нее, за шесть лет изучила каждого, но обратилась ко всем тоже по бумажке с проникновенным словом, которое по ее просьбе на высоком профессиональном уровне сочинила баба Лена, написавшая за сорок лет работы в прессе бог знает сколько тысяч строк ежечкой дежурной публицистики. Долгое время она была даже замом редактора молодежной газеты, выходившей после войны на двух страницах уменьшенного формата, а редакторствовала там (мужчин не хватало, видно) ее ровесница Екатерина Григорьевна, за что местные остряки, обыгрывая совпадающие инициалы начальниц, за глаза называли их: «Е-два, Е-два».

Читала Нина Макаровна с неподдельным вдохновением, но ее почти никто не слушал. Красивые, ладно скроенные фразы о выборе жизненного пути и дерзаниях юности тонули в невообразимом гуле, и баба Лена, потратившая на сочинение немало часов (работалась ей всегда мучительно), не единожды резко оборачивалась к неблагодарным юицам, шепча Кириллу в самое ухо: «Это же черт знает что такое!»

Выступление француженки завершилось, как и положено, на высокой патетической ноте, еще раз похлопали, и тут дело дошло до главного — вручения аттестатов. Выкликались фамилии, вызванные один за другим жали руки учителям и, разглядывая на ходу новые «корочки», резво возвращались на галерку, сопровождаемые взорами истомившихся от духоты и ожидания родичей.

Вот со сцены спустилась в зал последняя выпускница, и директриса, объявив, что официальная часть закончена, интригующе воззвала:

— А теперь просим пройти в столовую!

Толпа из зала выплеснулась в коридор, взвихрилась и постепенно разделилась на двое. Как и было условлено заранее, Вера осталась с Аркадием. Остались на ночь и другие отцы и матери, и Аркадий, обычно встречавший в штыки малейшее посягательство семейных на свою свободу, на этот раз против Вериного присутствия возражать не стал.

Вернувшись домой, Кирилл сообщил об этом сонному Мише (у бабы Лены, да и дома чаще всего первым на звонки отвечал он) и, привыкший к ежевечерней домашней суете, шуму телевизора и ребячьей толкотне, как-то растерялся.

«Летит же время,— башально размышлял он, слопаясь туда-сюда по квартире.— Вот уже Аркашка школу кончил. И жизнь этак вся пройдет — не заметишь».

Разбудил его на раннем рассвете короткий звонок в передней. Протерев глаза кулаком, открыл дверь.

— Ага-а,— протянула Вера с давнишней знакомой укоризненной интонацией.— Кто-то себе блаженствует, а тут мучайся целую ночь.

«Вечно криминал найдется»,— подумал Кирилл и, скрывая раздражение, спросил:

— Ну, как погуляли?

— Нормально,— пробасил Аркадий, с зевотой рас-

шпуропытая купленные пакеты запыленные импортные полуботинки.

— Устали до чертиков, — добавила Вера, — кое-как первого автобуса дождались. Будь моя воля, отменила бы я все эти церемонии.

Кирилл лег досыпать и слышал, как Вера пепяля сну, умудрившемуся вымазать масляной краской впервые надетый на выпускной вечер элегантный костюм. Аркадий в ответ что-то толковал про ацетон, и Кириллу сквозь дрему припомнилось чеховское: «...от шумного пира — угар и горчица».

...Спустя несколько недель Аркадия приняли в институт. Случилось это неожиданно, в самый разгар вступительных экзаменов. Он сдал из четырех всего лишь два предмета, оба на «отлично», и прошел по «эксперименту»: в школьном аттестате оказался необходимый для этого оценочный балл. Не успели родители с бабой Леной опомниться, как на другой же день пришлось проводить новоиспеченного студента на работу в совхоз, известный необозримыми плантациями табака.

Маршрут был Аркадию знаком. Впервые он ездил в эти табачные края еще школьником и потому перед девочками — благо, их в инязе большинство — ощущал себя этаким табачным асом.

Через десять дней экзамены закончились, и зачисленных досрочно, по «эксперименту», вернули в город. Аркадий приехал худым, но посвежевшим и загорелым, по-Вериюму говоря, как чурушка.

Вера сразу же принялась усиленно откармливать студента, ибо неделей позже ему предстояло, как в сказках, где героям обычно выпадают троекратные испытания, снова отправиться на тот же табак, но уже всем институтским кагалом и на сей раз — надолго.

Дни короткого и тем более блаженного ничегонеделания Аркадий проводил дома, вволю предаваясь с братцем необузданным забавам из рода тех самых, какие неизменно вызывали бурный протест бабы Лены: подобно Мишке, не уступая ему в прыти, протирал на коленках штаны, играя на полу в какие-то нескончаемые игры с разноцветными пластмассовыми шариками; крутил до одури лицензионные диски, за которыми Кириллу пришлось выстоять (чего только для отроков не сделаешь!) длиннющие очереди на выставках-продажах болгарских и индийских грампластинок.

Вечером Вера уговорила Аркадия позвонить Нине

Макаровне, и от нее он узнал, кому из их класса куда удалось поступить. Большинство ребят определилось в местные вузы, а один чрезвычайно серьезный, ис от мира сего, парень, Куат,— гордость Нины Макаровны,— звонил ей из столицы, сказал, что принят на физмат МГУ.

Тут Аркадию оставалось только вздохнуть: с Москвой у него не получилось, «французов» там и без него хватает, и чаяниям бабы Лены, всю жизнь просидевшей на одном месте, но постоянно испытывавшей комплекс чеховской героини («В Москву! В Москву!») и, кроме всего прочего, пуще всего на свете боявшейся селевых потоков и землетрясений,— чаяниям о том, что хоть внук устроится в Москве, а там, глядишь, и...— не суждено было сбыться.

...Провожали Аркадия в институт утром от бабы Лены, и в предотъездной суете, как водится, не обошлось без некоторых эксцессов. Обнаружилось, что собранный в дорогу увесистый чемодан никак не мог вместить то одного, то другого, без чего, по мнению бабы Лены, пришлось бы пережить прямо-таки катастрофу, и она, под привычные огрызания впуха, навязала ему в придачу большую авоську с многодневным припасом съестного.

Утро было жаркое и душное, но Аркадий вопреки погоде надел поверх пестрой безрукавки темно-зеленую куртку из прочной ткани, наподобие тех, с эмблемами на спине и рукавах и броскими надписями «Альтаир», «Романтик», в каких повсюду — на БАМе, на Каме, на целине — щеголяют студенты-стройотрядовцы, и, тщательно оглядев себя в зеркало, отдал, наконец, дань обычай: присел вместе со всеми на минутку перед дорогой.

— Ну, встали,— скомандовала Вера после того, как чуток помотчали, и все суматошно переместились в приложную: времени оставалось в обрез.

Аркадий поспешно чмокнул в щеку Мишку и бабу Лену, потом все трое помахали им с улицы и через четверть часа были у института, где кучками и поодиночке бродили парни и девчата, кое-кто в похожих на Аркадьеву куртках, а большинство в украшенных всевозможными рисунками футболках; на скамейках, поставив к ногам рюкзаки и чемоданы, сидели отцы, матери и всякие другие родичи. Здесь же, с краешку, в тени серого неказистого институтского здания примостились и Кирилл с Верой.

Но уехать первокурсникам в этот день оказалось не суждено. Минут через сорок, когда палящее южное солнце поднялось выше, напрочь согнав тень со скамеек, и стало вовсю припекать головы, на улицу вышли решительный, начальственного вида мужчина и изынъкая женщина. Истомившаяся молодежь вместе с провожающими тут же окружила их плотным кольцом.

Мужчина для начала солидно покашлял в кулак, будто в микрофон, глядя куда-то поверх толпы, хотелось было приступить. Но тут подбежали опоздавшие, и оратор, укоризненно наступив черные брови, сделал им внушене. Потом снова отвел взгляд в пустоту и торжественно возгласил:

— Товарищи студенты! Прежде всего разрешите поздравить вас с началом вашего первого учебного года. По славной традиции, он начинается у вас, как и у всех ваших коллег, с трудовой практики, во время которой вы окажете труженикам села большую помощь в уборке урожая и выполнении обязательств по сдаче государству сельскохозяйственной продукции. Надеемся, что вы внесете достойный вклад в это важное, благородное дело и с честью оправдаете оказанное вам высокое доверие!

Произнеся это, как по-писаному, без запинки, оратор достал из нагрудного кармана белоснежный платок, промокнул пот на льбу и щеках и, обернувшись, добавил:

— Конкретно обо всем вам расскажет представитель администрации... — Он назвал какие-то мудреные имя и отчество, которые Кирилл с Верой не расслышали.

Стараясь тоже не глядеть ни на кого в отдельности, «представитель» изобразила милую улыбку.

— Отъезд, товарищи, состоится завтра. Нужно привыкнуть с вещами сюда же.

От такого сообщения многие лица, естественно, вытянулись, дама же, продолжая улыбаться и подтеплив голос, сказала:

— Просьба, товарищи, не опаздывать. Вам будут поданы автобусы, и вы колонной, в сопровождении машины ГАИ, которая будет обеспечивать безопасность движения, отправитесь к месту работы, где вас встретят с радушiem и сразу же создадут надлежащие условия для плодотворного труда и разумного отдыха. Сегодня, кому нужно, могут посетить магазины и приобрести трико и другую подходящую для поля одежду. Итак, до завтра, желаем успеха!

Неизвестно, воспользовался ли кто советом заботливой администраторши; где именно можно найти такой дефицит, она почему-то подсказать постеснялась, а спрашивать никто не стал: неловко, да и намаялись все порядком.

Уехал Аркадий на следующий день перед обедом. Провожала его на сей раз одна баба Лена — день был рабочий — и, проторчав в ожидании полдня вместе с внуком на таком же яростном солнцепеке, зашла еще на обратном пути на свой любимый базарчик возле аккуратной старинной церквушки с недавно подновленными, ослепительно сияющими куполами, заслоненными от города ангароподобным зданием широкоформатного кинотеатра, а вернувшись домой в весьма распаленном состоянии духа, тут же позвонила Кириллу. Ей не терпелось выговориться, а то, что у сына могли быть на работе какие-то срочные дела, она привычно не принимала в расчет.

— Это черт знает что! — услышал Кирилл сакраментальный гневный зacin.— Просто черт знает!

— Ну, что, уехали?

— Да, но ты спроси — как! Ждали обещанных автобусов с восьми часов. Но, представь, только в десять появляется, наконец, обшарпанный рыдав, моментально в него набиваются кто побойчее. Ну, нашему, как всегда, худшее место досталось — на заднем сиденье. Зажали там его со всех сторон, воображаю — намучается, бедняга!..

Тут она, наконец, сделала паузу, и Кирилл заметил, стараясь приглушить раздражение экспрессивным суеверием:

— Ничего, потерпит. Мы воин студентами шесть суток по жаре товарняком в Туркмению тащились. А тут — всего каких-то полтора часа...

— Ну ладно, пока, — моментально потеряв интерес к разговору, с холодным нарезом подытожила баба Лена и, как всегда в подобных случаях, не дав Кириллу опомниться, повесила трубку. Для высоконтеллектуальных, доверительных, с ахами и охами разговоров у нее было несколько постоянных собеседниц; с ними она могла общаться по телефону часами, упиваясь полным взаимопониманием по всем затрагиваемым вопросам — от последних журнальных публикаций и телепостановок до современной морали, рыночных цен и порядков в магазине «Кооператор».

Некоторых из этих приятельниц Кирилл знал, скажем, художнице Клариссе, молодящуюся даму с постоянно восторженным выражением обильно подмалеванного косметикой, однако простоватого от природы лица, с коим ее дарованное родителями от щедрого сердца весьма изысканное имя составляло вполне очевидный контраст. Неизвестно, чем она приворожила бабу Лену, только та числила за ней массу всевозможных достоинств, и об одном из них поведала бывшим своим служивцам, когда они на квартире Кирилла провожали бабу Лену на пенсию.

Кирилл с Верой тогда постарались вовсю: сотрудники солидного журнала, отведав угощений, сделались, как водится, сами собой — шумели, хохмили, несли всяческую беллиберду. И вот, между блюдами, баба Лена нежно погладила Клариссу по плечу, как-то изумленно взиралась на нее, будто заметив вдруг нечто необыкновенное, и, интригующе понизив голос, сказала:

— А знаете, ведь наша Кларисса еще пишет стихи!

Хотя особого замешательства среди гостей сенсационное сообщение не вызвало, лицо польщенной художницы, налившись румянцем, расплылось в улыбке, которой она, впрочем, и ограничилась, предпочтя и далее хранить свой неведомый миру талант в приятно волнующей тайне.

...Аркадий уехал, и тут только хватились Кирилл с Верой, что лето уже на исходе, а они до сих пор не решили, как провести нынче отпуск. Его они всегда брали одновременно. И не каждый год, но через один обязательно старались — когда с детьми, когда вдвоем — поехать куда-нибудь, хотя от города у подножия заснеженных гор недалеко было только до соседней Киргизии с ее знаменитым озером Иссык-Кулем, где однажды угораздило их, поддавшись общему ажиотажу, провести вместе с ребятами две недели в каком-то ведомственном пансионате, куда путевки пришлось заказывать чуть ли не за полгода, да и отвалили за них — будь здоров, как за полный срок на черноморском курорте, и потому надеялись по неопытности на что-то особенное, а вышло все обыкновенно. Мишка — он совсем малой тогда был — с первого же дня закашлял. Успело, видно, прокаштить в самолете, к тому же прилетели в ненастье, и поселили их не в коттедже, как полагалось согласно путевкам, а в общем бараке, где и чаю не подогреешь; кашель же у мальчишки не утихал. Вместо отдыха при-

шлось три дня отчаянно бороться за свои законные права, и лишь на четвертые сутки с жильем паконец-то уладилось, а иначе бы — хоть возвращайся досрочно. И вода в «высокогорной жемчужине» оказалась чересчур холодна — на любителя, и Мишке удалось окунуться в нее всего разок лишь в самый канун отъезда. И долго еще потом преследовал дома резкий, тошнотный запах камбалы, коей трижды на дно потчевали отдыхающих в круглой, как цирк шапито, пансионатской столовой, и долго звучал в ушах хриплый припев разудалого шлягера, ежевечерне гремевшего на танцплощадке:

Сигар-рэта, сигар-рэта,  
Только ты не изменяешь.  
Я люблю тебя за это,  
Ты одна об этом знаешь.

Запомнилось еще хлебное поле — все в необыкновенно густых и высоких колосьях, экзотично желтеющее на фоне недальных, подернутых прозрачной сизоватой дымкой зеленых гор. Через это поле они почти каждый день ходили по притоптанной стерне, кое-где влажной, — землю здесь, оказывается, орошили, отчего и вырастал хлеб таким ядренным, — в ближайший поселок на базарчик, где в дополнение к скучному пансионатскому рациону, не скучаясь, покупали себе гостинцев: башочки ароматного меда, диковинную крупину, с крыжовник величиной, черную смородину, затейливые, искусно сплетенные гирлянды и ожерелья из вишней, споласкивали ягоды в ручье и лакомились на ходу, неспешно бредя домой тою же тихой, притаившейся в хлебах, плавающей светящей беспринципную грусть полевой дорожкой...

Дважды, с промежутком в три года, летали на Черноморское побережье, в благословенный Сочи, по завершениям расставленных вдоль дороги огромных, лезущих в глаза щитов, — город здоровья, город некурящих, где, впрочем, повсюду дымят немилосердно, начиная с таксистов, которым, видно, эти плакаты давно уже примелькались, как и дорожные знаки. Оба раза жили Кирилл с Верой в весьма фешенебельном доме отдыха без сыновей и оба раза искренне горевали об этом на огражденном от внешнего мира пляже — спускались сюда лифтом, устроенным прямо в чреве горы, — на этом фирменном пляже, где отдыхающие добросовестно отбывали отведенное регламентом время (лифт работал только в определенные часы), горевали Кирилл с Верой, глядя на

резвящихся в ласковых волнах крепких загорелых ребятишек и, вздыхая, вспоминали своих, томящихся в знойной духоте изнемогающего от застойной жары и безветрия города. Шоколадных от загара чад неведомо какими путями приводили на пляж такие же загорелые молодые родители — сочинские аборигены, которые вели себя довольно-таки банально: резались в карты, врубали транзисторы, иной раз и выпивали, пряча потом бутылки под мелкой прибрежной галькой. Чувствовали они себя тут как дома, — баюкали, переодевали и кормили малышей, не обращая внимания на не слишком ласковые взоры законных посетителей, явившихся черт знает из каких далей отдохнуть от надоевшего быта. Взорами все, впрочем, и ограничивалось: отпускной срок невелик, а тут еще разбирая, что да почему, обращайся к администрации, доказывай — да ну его к богу!

И что, собственно, доказывать? И так ясно: мало ли на пляже всякой обслуги — спасатели, медики, буфетчики, и у каждого в этих «Сочах» и родня, и приятели, и знакомые приятелей, и приятели знакомых...

И, конечно, нигде не скрыться от сослуживцев. И все они непременно пытались приобщать новичков к неким якобы незыблемым курортным традициям. Одна из них — совместное посещение ресторана или бара. Что касается бара, до него было рукой подать — подняться всего лишь этажом выше. Кирилл однажды зашел туда купить бутылку пепси-колы (просили дома сыновья, чтобы сравнить «чужой» напиток со «своим»). Оборудовано заведение было по всем правилам: радужно сияли на зеркальной стене за высокой стойкой искусно подсвеченные необычные по форме бутылки и хрустальные бокалы, золотом отливали длинные, словно коробки из-под духов, пачки импортных сигарет, из скрытого дишампика доносился хрипловатый голос Челентано, и царствовала за стойкой тонкая, как сигарета, девица в белом джинсовом костюме, в которой Кирилл узнал исполнительницу песен, выступавшую накануне в концерте местной художественной самодеятельности.

Девица оценивающе взглянула на Кирилла, а когда он спросил то, за чем пришел, отрезала:

- На вынос не отпускаем.
- Да мне бы для сынишки...
- Не могу: у нас план.

«А вчера еще бездарно кривлялась: «Миллион, миллион алых роз...» — с раздражением вспомнил Кирилл.

Больше он в бар не заглядывал.

Словом, лучше оно как-то без знакомых: отбывай отпущенное время, слушай прибой и думай себе о чем придется. Так нет же — и тут забота одолеет. Как-то после обеда, по обычанию, отправились к морю. Спустились в вестибюль и вдруг нос к носу столкнулись с одним Кирилловым сослуживцем. Ну, понятно, изобразили радость нежданной встречи, спросили друг друга о том о сем и только было собрались разойтись, как появилась пара — рослый неулыбчивый мужчина средних лет с дородной, круглицей супругой.

— Знакомьтесь, — предложил вдруг сослуживец.

— Селихов, — кратко, по-деловому представился тот, пожимая руку.

В тон ему ответил и Кирилл. Жены ограничились едва заметными взаимными кивками.

Сослуживец сообщил рослому место работы Кирилла и добавил, что он — сын писателя Шумилова.

— А-а, зна-аю, — протянул рослый, глядя куда-то мимо. — Наши отцы были знакомы: мой когда-то печатал вашего батю.

И, не дожидаясь ответной реплики, пара направилась к лифту.

— Как это — печатал? — спросила Вера, когда они остались одни.

— Да я и сам не понял, — признался Кирилл. — Должно быть, в издательстве работал или в комитете по печати. А может, еще где.

— А сам-то он, интересно, кто такой?

— Похоже, начальник.

Кирилл не ошибся: в тот же вечер от сослуживца он узнал, что Селихов занимает крупную должность в одном областном центре.

С того дня и появилась у них с Верой забота — как бы не встретиться больше с павязанными знакомыми. Но уже через день они нечаянно столкнулись, на этот раз — на пляже, куда, замешкавшись после завтрака, пришли позже обычного. Море ослепительно сверкало солнечными бликами, все «грибки» были уже заняты, и они, лавируя между распростертыми телами загорающих, с трудом выбрали себе свободное местечко у самой воды. И вдруг — о, фортуна! — в ближайших соседях справа узнали Селихова с женой, которая в купальном костюме предстала перед ними во всей своей необъятной полноте и мощи.

Супруги резались в подкидного дурака. Шумиловы с досадой переглянулись: ретироваться было уже поздно.

Соседи между тем сыграли очередной кон, и Селихов, тася колоду, рассеянно осмотрелся вокруг. Взглянул его задержался на Кирилле. Пыхтя, обернулась в его сторону и толстуха. Кирилл поздоровался.

— Послушайте, как будто я вас где-то видел,— на-  
морщив узкий лоб, сказал Селихов.— Вы не из Алма-  
Аты?

— Да,— кивнул Кирилл.

А супруга его, тоненько засмеявшись, напомнила:

— Да нас же позавчера Никифор познакомил.

— А-а, да-да,— вроде бы вспомнил Селихов и, тут же утратив интерес ко всему окружающему, опять стал тасовать колоду.

Но и эта встреча оказалась не последней. Последняя же произошла перед самым отъездом домой, когда Кирилл и Вера, приставив к креслу чемодан, сидели в фойе, ожидая такси.

И опять откуда ни возмись — Селихов, правда, на этот раз без супруги. Направляясь к лифту, он на ходу без улыбки спросил:

— Уезжаете?

Кирилл кивнул.

— Ну-ну.

И — исчез в лифте.

Однажды не слишком отягощенные работой местные культурышки решили охватить «уважаемых отдыхающих» массовым мероприятием. Накануне постыдный диктор, слегка подтеплив ради случая голос, объявил, что на пляже состоится праздник Нептуна.

День выдался солнечный, и сразу после завтрака, штурмую лифты, народ устремился вниз. Здесь, на дощатом помосте, восседал на высоком троне бородатый бог морей с микрофоном и пикой вместо трезубца. Рядом в чересчур смелом, но простительном для неземного создания прозрачном вязаном купальнике слепила белозубой улыбкой длинноногая богиня Афродита в синих босоножках на шпильках. На манер мисс-королевы конкурса красоты, она обвязала голову белой шелковой лентой.

Перед помостом полукружием столпился загорелый жизнерадостный курортный народ. Бездесущие ребятишки расселись впереди. В толпе, ожидая указаний своего повелителя, выделялись черти — дюжие парни с разма-

леванными жутковатыми физиономиями. На их груди и спинах разноцветные надписи — от легкомысленной «Kiss me»<sup>1</sup> до призывной «Give Peace a Chance»<sup>2</sup>.

Бородатый Нептун, ударив пикой о пол, хрюпло возгласил о начале праздника. Один за другим, отбивая церемонные поклоны, его комично приветствовали подгриппированные послы дальних и близких держав, и в знак благодарности бог угощал каждого красноватым морсом, выдаваемым за портвейн. Послы старались блеснуть красноречием. Но всех затмил «представитель соседней Грузии», выдавший экспромт на подкупающую тему:

Если вы слегка устали,  
Отхлебните «Цинандали».  
Ну, а если же взгрустили,  
Вылейте «Напареули»...

— Ну, а коли взял «Лыхны», пей до дна — и хоть бы хны.— добавил в тон Кирилл, обыграв название, введенное накануне на бутылочных этикетках в ближнем продуктовом магазинчике.

Знаток вакхической поэзии из «соседней Грузии» был поощрен двойной порцией морса и осушил кружки под громкие хлопки и жизнерадостные выкрики толпы. И тут же по кличу Нептуна: «Слуги мои верные, окуните его!» — черти схватили певца виноградных вин и потащили к огромной бочке.

А бог морей, опять стукнув пикой, объявил:

— Сейчас нас с Афродитой будет приветствовать юная смена!

При этих словах вышла на круг цепочка чересчур упитанных великовозрастных девиц с разноцветными бантиками в косичках и в коротеньких юбочках из марли. К ним пристроилась и Афродита. В руках у первой, самой пышной, был бумажный плакат: «Подналяжим и покажим мы атличий апитит!» Девицы картаво прописали какие-то куплеты опять-таки с гастрономическим уклоном, тяжело колыша телесами, станцевали попльку и, пыхтя, с приседаниями раскланивались перед троном и публикой. Афродита вернулась на помост.

— Юная смена! — снова крикнул Нептун. — К борьбе за телопохудание будьте готовы!

— Всегда готовы! — салютуя пухлыми руками, то-

<sup>1</sup> Поцелуй меня (англ.).

<sup>2</sup> Дайте миру шанс (англ.).

и нечко проблеяли девицы и под зангранный бодрень-  
кий детский мотивчик гуськом двинулись от помоста.

Мотивчик сменился загрохотавшей вдруг из динами-  
ка зажигательной песней Адриано Челентано и, подба-  
дравасмая выкриками бога морей, затомившаяся пуб-  
лика задергалась кто во что горазд, с удовольствием  
разминая мышцы.

Мероприятие подходило к концу, и довольные куль-  
туринки, посмеиваясь, допивали вместе с Нептуном  
остатки морса.

Музыка, наконец, смолкла, толпа рассеялась по пля-  
жу, и он сразу же приобрел свой обычный, будничный  
вид. И так хорошо было в наступившей вдруг тишине  
слушать природный, никогда не надоедающий морской  
шум прибоя...

— Правильно ты сделала, что не пошла, — сказал Ки-  
рилл Вере, в задумчивости добредя до нее в дальней  
конец пляжа.

— А что?

— Да мутра какая-то. Додумались же...

И Кирилл описал в общих чертах только что увиден-  
ное пляжное представление.

— Ну и что? Это же все-таки шутка. Да и парой  
проходной: нынче — одни, завтра — другие. Посмеялись,  
поплясали, и ладно, — как всегда резонно заключила  
Вера. — Пойдем лучше купаться.

И они, взявшись за руки, дружно вошли в теплую  
потоку прибоя, а потом, радуясь теплой спокойной воде,  
солищу, временной своей беззаботности, поплыли ря-  
дышком к слегка покачивавшемуся в отдалении красно-  
му бочонку — бую.

...Странно, однако, тут, на курортном юге. В глу-  
почь — звезды, а с утра — мрак кругом, за мутной рож-  
девой завесой моря — и того не видно. Куда эти солнеч-  
ные дни — целых триста двадцать в году — полеза-  
лись?

Кирилл все же в настроении стал тормошить Веру  
сразу после завтрака — экскурсия в Пицунду; загодя  
еще недели две назад записывались.

Вообще-то, выбор был небогатый: морская прогулка.  
Сочи, озеро Рица, Сухуми, Новоафонские пещеры...  
В пещеры — и так сырь — не поманивало; по морю  
вдоль берега плавали, Веру — в штиль — страшно ука-  
жало; в Сочи и на Рицу ездили; озеро напомнило нечез-  
гувший после селевого потока высокогорный Иссык, где

они бывали порознь когда-то давно, еще до женитьбы, и нашли, что он был куда красивее и чище хваленой «казакской жемчужины». Хотя, кто знает, доживи Иссык до наших дней да подвергнись вселенскому туристскому буму... Дорогу, правда,— на то Кавказ!— не забудешь; головокружительные виражи над бездонными ущельями, подумаешь,— а вдруг, не дай бог, откажут тормоза. Бр-р-р!

Пицунду же Кирилл выбрал без колебаний, когда прочитал: «Концерт органной музыки». Слышали от тех, кто ездил раньше: не где-нибудь концерт, а в древнем храме.

Двенадцатый этаж, столовая, постный голос откуда-то с потолка: «Говорит радиоузел дома отдыха «Солнечная роща». Доброе утро, уважаемые отдыхающие!»; телефели с гарниром; лифт; короткая пробежка под дождем к автобусу; расселись — Вера к окну,— поехали...

Экскурсовод заговорил сразу, как только тронулись по асфальтовой дороге, гигантской змеей извивающейся между непроходимыми зарослями вниз, к морю.

— Это будет закрытый плавательный бассейн с морской водой,— показал он на вытянутое, с покатой крышей здание, ощетинившееся лесами.— Его обещали сдать два года назад, потом — к началу нынешнего, ну, теперь к концу следующего, возможно, построят. И тогда в нашей здравнице можно будет купаться даже зимой!

Миновали въездные решетчатые ворота с надписью: «Открываются автоматически» и старушкой вахтершей в платочке у проходной, рычагом приводящей автоматику в действие.

А дальше пошла прижатая к берегу дорога с облезлыми эвкалиптами по обочинам — объектами затертых шуток гидов местного турбюро.

Ага, вот. Экскурсовод, полуобернувшись в кресле,— в микрофон:

— Мы с вами следуем по приморскому шоссе. Его начали строить в 1919 году и продолжают расширять до сих пор. Еще не так давно тут с трудом могли разъехаться две машины, а сегодня, как видите, можно прокатиться с ветерком. Вы обратили внимание на эти высокие деревья? Это эвкалипты. Ученые выяснили, что они потребляют очень много воды, а потому растут гораздо быстрее других и, постоянно сбрасывая кору, стоят

как бы голые. Оттого в народе их называют бесстыдницами или курортницами.

Вера толкнула Кирилла в бок.

А гид продолжал:

— Сейчас мы подъезжаем к небольшому поселку, который называется Гребешок. Откуда такое название? Существует легенда, и даже не легенда, а быль, которую передают потомкам местные жители. В начале века в этих краях любила гулять и купаться подруга родственника Николая Второго, принца Ольденбургского. Однажды во время прогулки подруга потеряла гребешок. Он был, конечно, не простой — из слоновой кости, украшенный бриллиантами. Ну, дама, понятное дело, огорчилась. Принц отправил на поиски четырех горцов на ослах, но они вернулись ни с чем. Тогда он, чтобы утешить даму сердца, построил ей здесь дворец и назвал его Гребешок. Между прочим, прожила она тут до начала тридцатых годов, когда дворец передали под дом отдыха, и с тех пор там отдыхают трудящиеся.

Все закрутили головами, но дворца среди густой зелени не заметили. Мелькали вдоль дороги добрые однообразные особняки за увитыми виноградом узорчатыми железными воротами. Кирилл все пытался прочитать названия улиц на табличках, но буквы были мелкие — так и не смог разобрать.

Шоссе незаметно превратилось в городскую улицу. По обеим сторонам замелькали магазины, киоски, кафе. забитые народом автобусные остановки. Пестрая толпа текла по узким тротуарам, вытягиваясь в очереди у ларьков и лавочонок.

— Справа мы проехали «Ауниверсам». Вообще, абхазский язык выучить проще простого. Не верите? Давайте попробуем. Надо только взять слово и приставить к нему букву «а». Начнем? Милиция...

И, не дождавшись подсказки:

— Амилиция. Почта...

И опять же сам:

— Апочта. Бензин — абензин. Чай...

— Ачай,— откликнулся наконец кто-то, и ловкий экскурсовод переключился с филологии на другую тему: возле щита — указателя «Пицунда» дорога резко свернула вправо. Проехали по прямой сумрачной аллее («Пицундская реликтовая сосна водится только здесь и больше нигде в мире»). Дальше под такими же соснами Кирилл углядел вполне прозаичных домашних уток,

справа осталась въездная арка какого-то совхоза, длинная изгородь, за ней — коровы, свиньи в грязи,— дождь все не переставал,— и почему-то припомнились целичные казахстанские степи и в то же время что-то такое исконное, крестьянское, российское...

Сбивли ход: на обочине — автокрап, красный «жигуленок» с расплющенным передом, девичий вскрик в автобусе: «Боже мой!»; потом опять аллея, стеклянная будочка ГАИ, маленькая запруженная людьми и машинами площадь. И дождь, дождь...

— Товарищи,— снова гид,— давайте сверим часы. Сейчас на моих — ровно одиннадцать. Концерт начинается без пятнадцати двенадцать, а заканчивается ровно в час. Обратно выезжаем в час двадцать. Кто опаздывает, добирается домой самостоятельно. Как говорится, назло кондуктору куплю билет и пойду пешком. Договорились? А пока — вот за этими ларьками — здание неизвестного архитектора,— оно вам, уверен, понадобится, вот там — триста метров — рынок, слева — бар, кто куда пошелает. Храм тут близко — видите купол? Итак, жду вас у автобуса.

Многие отправились на рынок. Наладились туда и Кирилл с Верой. Она раскрыла цветастый японский зонтик, Кирилл тоже примостился под ним, но так быстро не пойдешь, и он накрыл голову целлофановым пакетом.

До рынка оказалось на самом деле с полкилометра. Вот он уже, через дорогу. А перейти,— ждали минуты три, показалось же вечно: машины, машины, туда-сюда, три светофоров, три знаков. Перед самым носом Веры и Кирилла, обрызгав их, проплыл огромный, приземистый, с задранным задом лимузин («Форд»? «Феррари»?). За рулем восседал гордый, как Эльбрус, горбоносый мужчина, и номер на лимузине, заметил Кирилл, был тоже свой, отечественный.

— Они тут как хотят, так и ездят! — возмутилась Вера, отряхнув платье. Марки и номера машин ее никогда не интересовали.

Перешли, наконец, кое-как.

Базар как базар: тесно, шумно, торговцы — под павесами и прямо под дождем.

Галопом между рядами — время поджимает,— где, что? Ага, темные банки, пчелы вьются. Мед?

— Майский. Бери, барышна, лучше не найдешь.

— Сколько банка?

— Восемь.

В толпе засмеялись. Здоровое начало отзвалось да-  
же в пастырном. Улыбнувшись он себе, правда, не позво-  
лил, зато без дальнейших протестов двинулся прочь от  
ворот.

Дождь быстро загнал всех в автобус, и тут снова на-  
чались трения. Одни предлагали сразу же ехать обрат-  
но, другие — и Кирилл с Верой — хотели вернуться  
осмотреть храм, пусть и без музыки; последних оказа-  
лось больше. К тому же одно сиденье пустовало. Вспоми-  
нили, что тут красовалась нарядная парочка, видать,  
молодожены, и они имели полное право гулять еще  
целых полтора часа. А без них раньше времени не  
уедешь. Этот аргумент и оказался решающим: кто бодро,  
кто нехотя, семейные пары и одиночки стали покидать  
автобус.

Через высокие ворота пропускали без билетов, и  
людские цепочки тянулись по двору мимо длинного се-  
рого двухэтажного здания, сворачивали по дорожке к  
храму и, переступив порог, сразу же попадали в его  
мрачноватый круглый зал с высоченным купольным сво-  
дом, расписанным ликами святых угодников. Кирилл с  
Верой, остыв от дурацкой размолвки, прошли между ря-  
дами мягких кресел в центр, где посетители слушали  
пояснения загорелого, атлетического сложения парня в  
модной светло-голубой рубашке с погонышками.

— Мы находимся в храме, который является заме-  
чательным памятником древнего зодчества, — заученно,  
почти без акцента говорил он. — Построен из кирпича в  
десятом веке нашей эры и, как видите, хорошо обра-  
тился. Это благодаря особому раствору, который заме-  
шивали на яйце. Обратите внимание: слой раствора при-  
стает по толщине кирпичу. И пол под вами остается  
прежним и уже тысячу лет также не нуждается в ре-  
монте.

Слушатели, склонив головы, затоптались на месте,  
как бы желая убедиться в прочности древнего пола.  
плотную, без зазоров выложенного серо-коричневыми  
плитками.

— Во делали предки, а! И обязательств, небось, не  
брали, — басовито одобрил кто-то.

— Теперь обратите внимание на орган. Его привез-  
ли по частям и установили специалисты из Германской  
Демократической Республики. Этот орган вместе с пере-  
возкой и установкой обошелся нашему государству в  
двести шестьдесят тысяч рублей. В храме прекрасная

акустика, и уже несколько лет здесь регулярно даются концерты органной музыки. Пожалуйста, приходите, и вы получите истинное наслаждение.

— Спасибо за приглашение,— поблагодарил кто-то. Кирилл засмеялся, но Вера, на всякий случай, предостерегающе приложила палец к губам.

— Теперь,— объявил парень с погончиками,— вы можете пройти воин в то здание,— он показал в открытую дверь на длинный дом во дворе.— Раньше в его кельях, что на втором этаже, жили служители храма — монахи, но в тридцатых годах нашего века были изгнаны за нарушение церковного устава. Сейчас в здании размещается краеведческий музей.

«Десятый век... тридцатые годы... монахи... Чертовщина какая-то»,— подумал Кирилл, но, помня Верино предупреждение, промолчал.

— Итак, товарищи, всего хорошего и — добро пожаловать!— бравурно прозвучало вслед.

В музее все было, как положено: витрины с большими и малыми костями, черепками, расколотые горшки и прочее-тому подобное. Турист в кедах, растопырив локти, нацеливался фотоаппаратом на подсвеченную витрину с мозаичным изображением богоматери.

Можно было с легкой душой отправляться назад. Уже у ворот Кирилл оглянулся на приземистое здание. Угловое окно на втором этаже было открыто, и виднелась стена, покрытая белым кафелем.

— Странно: кельи и — кафель,— промолвил Кирилл.

— А что странного — прогресс,— резюмировала Вера.— Теперь ведь там контора, не монастырь.

— А кому, интересно, читали в храме проповеди, коли в этих райских местах не так давно еще житья не было от малярийного комара? Ведь слышала же: не изведи комара начисто итальянская рыбешка,— как она там называется-то?— тогда бы все, хана. А теперь со всего мира едут.

— Прогресс,— сказала Вера.

Весь обратный путь молчали. Выработав свою информационно-развлекательную программу, скучал в кресле рядом с крупноголовым, седовласым и чинным, как министр, водителем усталый экскурсовод. В центре Гагры, возле кафе и закусочных, он попросил притормозить.

— Только учи: я тебя ждать не буду,— сказал водитель, и слова, усиленные микрофоном,— его, видимо, забыли отключить,— разнеслись по всему салону.

Автобус тронулся.

К обеду поспели вовремя. Перед тем, как идти в столовую, Вера, не утерпев, открыла банку с медом — ту что поменьше — и, лиизнув, сморщилась.

— Ты чего, — удивился Кирилл.

— Попробуй!

Кирилл тронул край банки кончиком языка. Мед оказался душистым. Душистым и — горьким.

— А этот-то здорово про предков загнул, — вспомнив, засмеялся Кирилл. Время от времени приходилось ему навещать когда-то захолустный областной городишко. Теперь, конечно, его не узнать, оброс домами и газонами, стандартными микрорайонами, и осталось от прежнего — только название, да не очень широкая степная река, да несколько старинных зданий. Уж какую только технику ни применяли, чтобы снести эти настырные дома, — бульдозеры, краны, тараны — и наверное, — дай волю — не стушевались бы призвать на помощь и тяжелую артиллерию. Правда, кое-каких успехов все же достигли, но вдруг почему-то опомнились. То ли сердце у кого оказалось не каменное, то ли постановление про охрану архитектурных памятников вышло. Хочешь — не хочешь, а документ уважать положено.

Но — пораньше бы... Главную улицу — Кирилл только ее и помнил с детства — покрушили, и уцелел лишь двухэтажный кирпичный дом — бывший магазин богатого купца-татарина, чье имя до сих пор помнят дотошные газетчики и тихие, кропотливые краеведы.

А на окраине мельница была высоченная, тоже из кирпичей на старозаветном растворе с яйцом. Покусились, было, и на нее, но силы хватило только на кровлю, а стены, хоть убей, разору не поддались. А тут опять же — охрана памятников. Раз такое дело, пришло отцам города на ум переоборудовать мельницу на мастер храма и установить в нем орган. Дескать, есть же в соседней области куранты с боем на почтамте, и у нас будет не хуже. Не все ли равно, сносить или отдавать, был бы указ, а казенных денег не жалко. Узнали про это жители, и пошла гулять по кругу частушка:

В нашем городе решили  
Мельницу сковыривать.  
Били-били — не разбили,  
Стали реставрировать.

— Вот черти, сочинял же! — услышав частушку, удивился Кирилл. Разнохают еще про орган, и его навер-

няка в стишках обыграют. Чтоб соседей затмить, небось с четверть миллиона отвалить придется. А чем еще хвастать — не театром, не музсем же краеведческим!

Театр и музей были на главной улице, в двух шагах от гостиницы и обкома. Однажды Кирилл попал на зарубежную пьесу. Три часа жертвы буржуазного общества только и делали, что морально разлагались да сквозь сигарный дым перебрасывались афоризмами типа: «Нельзя зачать ребенка, если лежишь в разных постелях» и «Люди пили, пьют и будут пить, пока на земле есть спиртное».

Зрители откликались на реплики жертв жизнерадостным ржанием. Главный герой, опрокидывая бокал за бокалом, с вожделением ждал «щелчка» — сигнала отключения от действительности, а когда дождался, зал отреагировал опять-таки дружным хохотом.

Как же так? Ведь это — по сути — трагедия, распад человеческой личности, стремление хотя бы временно уйти от опостылевшей жизни. А они смеются.

Кирилл с негодованием огляделся. Народу было полно, но все сплошь — молодняк; людей постарше не наблюдалось и двух десятков.

Рядом с Кириллом сидел аккуратный, скромный парень лет пятнадцати, похожий на Аркадия. Такая же прическа с пробором, модные очки в металлической оправе с двойной дужкой. Время от времени парень не громко переговаривался с дружками. В антракте Кирилл спросил, где он купил билет на спектакль. Оказалось, в школе: пришел распространитель, сбывал по льготной — половинной цене. А тут еще модный автор, название завлекательное, вот и двинули всем классом.

— И не жалеете?

Парень улыбнулся, пожал неопределенно плечами.

Закончилось представление всемобщим канканом под зажигательные шю-орлеанские ритмы, автоматически провоцирующие дружные аплодисменты. Под джазовые синкопы толпа устремилась к выходу, и сразу же образовалась пробка: из трех двухстворчатых стеклянных дверей одна была одна, да и то наполовину. Засидевшаяся молодежь, почувствовав свежий воздух, азартно заработала локтями, спеша прорваться наружу, и Кирилл, нагло зажатый с боков дюжими молодцами, корил себя за то, что не переждал, пока склынет бурный поток. «Есть же двери, неужели трудно открыть? — чертился он. — Кто сказал, что театр начинается с вешалки? Ког-

да-то, может, и начнется. А теперь с дверей начинается. И кончается ими же! Начальство-то, впрочем, через другие двери ходит. Если оно бывает здесь когда-нибудь вообще».

Провели один отпуск в братской стране — кто теперь туда не сходит! — тоже на Черном море. Руководителем туристской группы (учителя, повара, таксисты, медсестры, мойщики и шоферы автобусов, в том числе и водитель издавна хорошо знакомого Шумиловым городского маршрута, которым они когда-то добирались по выходным и праздникам до Верной родни, а теперь порою, если поджимало время, подскакивали до работы), руководителем этой разношерстной компании оказался опять-таки сослуживец Кирилла, как и они с Верой, впервые отправлявшийся за рубеж и оттого, должно быть, старавшийся, в отличие от всей по-отпусканому беспечной легкомысленной братии, казаться святым самого папы римского.

К тому же Евстрата Фомича (угораздило же родителей наречь будущего ответственного товарища этаким неординарным именем!) на общем предотъездном собрании в профсоюзном учреждении представили как «опытного работника, имеющего большой опыт работы с людьми», и он, слыша эти слова бойко ведущей инструктаж дамы в белом фирмениум платье иностранного покроя, напыжился и постарался придать лицу крайнее озабоченное выражение. Дама же одарила его белозубой улыбкой и, качнув огромными золотыми серьгами, принялась растолковывать правила поведения туристов. Инструкторша предостерегла слушателей от нарушения за границей норм общественной морали, привела для острастки несколько примеров из практики, которые принято называть негативными, и, лукаво улыбнувшись, выразила уверенность, что уж в группе-то Евстрата Фомича ничего подобного, конечно же, не случится.

Впрочем, реверансов в сторону Евстрата dame показалось мало, и она, к полной неожиданности, сделала такой и перед Кириллом.

— Товарищи, знаете, вам повезло: в вашей группе есть даже свой писатель, — переведя взгляд жгучих, густо подмалеванных глаз на Кирилла, объявила она. — Надеемся, товарищ Шумилов, потом прочитать что-нибудь ваше об этой замечательной поездке.

Уловив нацеленный на Кирилла взор, все стали оглядываться, он покраснел и буркнул что-то такое, чего не

смогла разобрать даже Вера. Он и на пятом десятке не разучился на людях краснеть и теряться и каждый раз злился на себя за это. Вот и теперь, задетый беспардонностью уставившихся на него партнеров по поездке, Кирилл заерзал, мысленно проклиная йастырную инструкторшу и весь затеянный ею спектакль. Впрочем, все это, наверное, легко прочитывалось в его взгляде: уколовшись о него, дама поспешила переменить тему.

— Теперь,— сказала она,— осталось решить один практический вопрос. Нам необходимо выбрать казначея. Предлагаю товарища Семенову. Она бухгалтер — ей, как говорится, и карты в руки. Элеонора Лукьяновна, прошу вас сюда!

На сцену из первого ряда тяжело поднялась слоноподобная особа и, обмахиваясь платочком, уселась рядом с Евстратом Фомичом.

— Чудесно,— подытожила инструкторша.— Если не возражаете, сейчас же и дадим нашему казначею первое поручение. Нужно, товарищи, собрать деньги на сувениры. Их вы подарите вашим друзьям от имени всей группы. Такова традиция, не будем ее нарушать.

— А по скольку сдавать?— спросил кто-то из зала.

— Ах, да — по три рубля с каждого.

В рядах зашевелились, застучали спицами, защелками кошельками.

— Смелее, товарищи, смелее! Подходите к казначею!

И тут, перекрывая шум, Евстрат Фомич справился:

— А мне, Амалия Гирагимовна, сдавать?

Инструкторша кивнула, и озадаченный Евстрат Фомич полез в бумажник: ему как руководителю пести финансовые издергки не полагалось.

Недаром, видно, руководителям такие льготы, подумалось Кириллу. Попробуй-ка ответь за целый кагал, да еще когда знаешь людей только по бумажкам. Тут свои собственные дела уладить — и то хлопот не оберешься. Одну характеристику заполучить чего стоило. Вере, прежде чем подписать, настоящий экзамен на работе устроили. Хотя, казалось бы, с чего: знали Веру в коллективе не первый год, и значок ударника коммунистического труда совсем недавно вручали...

Но все кое-как утряслось. Аркадия с Мишой вынужденно взяла на постой баба Лея.

В Москву летели в радужном настроении: шутка

ли — каких-нибудь полтора денька в столице и — София!

...По дороге в гостиницу, куда почти полтора часа тащился через весь город к Останкинской башне дребезжащий автобус, стал раскрываться организаторский талант и опыт Евстрата Фомича. Для начала он дважды старательно пересчитал подопечных, тыкая в каждого пальцем и, успокоенный, расселся на первом сиденье, не обращая никакого внимания на то, что кое-кому не хватило места. Не досталось и Шумиловым, и они тряслись, как на телеге, стоя у тусклого, запыленного окна на задней площадке. Вере нездоровилось, она морщилась при каждом сильном толчке и молила бога, чтобы только скорее кончилась эта чертова свистопляска. Кирилл все порывался подойти к шефу, но многотерпеливая Вера не пустила, лишь когда стало уж вовсе невмоготу, сказала негромко:

— Ну, этого я Евстрату не прошу.

Гостиница для транзитников оказалась огромной, с длиннющими коридорами и малоуютным, тесноватым вестибюлем.

Чтобы скратить время, Шумиловы отправились побродить по округе. Ничего из знакомых с детства, привычных картин Москвы здесь не было. Тянулся обсаженный по центру невысокими деревьями бульвар, напоминавший им улицу, которая в пору их молодости называлась Тринадцатой линией, а позднее стала носить имя первого космонавта. Никакой столичной суеты, на удивление тихо и пустынно. Не верилось, что это — тот самый город, по чьим зажатым громадами домов, забитым машинами и толпой улицам они только что пробирались.

Сквозь облака пробилось солнце, и в его розоватом предзакатном отблеске грустно загорелись золоченые купола небольшой церквишки, скрытой малопрятанными домами и заборами, и высветлилось гигантское строение. Они приняли его за крытый рынок и, подойдя, с удивлением увидели над входом вывеску: «Пивной бар».

— Масштабы... — покачал головой Кирилл.

До темноты слонялись по окрестным нищем не примечательным улицам, заглядывали в продуктовые магазины, где, кроме них, наверное, не было праздношатающихся — каждый спешил после работы своим еже-

дневным, будничным маршрутом,— с четверть часа переждали припустивший вдруг дождь, спрятавшись под навесом у входа в почтовое отделение.

На следующее утро Евстрат Фомич собрал всех в тесном вестибюле на предотъездный инструктаж и поразил сенсационным сообщением, что за границу, кроме трех десяток, которые можно законным путем обменять в гостинице на болгарские левы, разрешается захватить с собой не более трех рублей.

— Прошу отнести к этому со всей серьезностью,— прокурорским тоном изрек он.

Шумиловы переглянулись: у них сверх «законных», подлежащих обмену денег набиралось еще с десятку мелкими бумажками. Впрочем, в таком же положении оказались почти все остальные спутники.

— И что теперь делать? Не тащиться же из-за какой-то там ерунды в сберкассу,— пробурчал флегматичного вида тип с вишневым брюшком, перехваченным внизу модным широким ремнем с блестящей, фиолетовой, как сказал бы Аркадий, пряжкой.

— Вот именно,— поддакнула типу такая же упитанная, похожая на него и фигурой, и обличьем насупленная супруга.

Поднялся общий гомон.

— Тихо, товарищи, тихо! — взметнулся Евстрат Фомич. — Что вы шумите, как в детском саду? Несолидно, в самом деле!

— Так. А как же все-таки быть? — повторил вопрос флегматик.

— А вот так: надо достать лопату, выкопать яму и зарыть всю мелочевку.

Все ошарашенно уставились на руководителя — и уж кичориет! — но его физиономия не оставляла ни малейшей надежды на шутку.

Впрочем, как это часто бывает, дело утряслось само собой: вестибюль начал быстро пустеть — одни направились по своим номерам, другие на улицу, — а Евстрат Фомич стал сосредоточенно рассматривать свои наизусть заученные бумаги, разложенные на журнальном столике.

Вечером он в последний раз собрал группу, напомнил, что подъем в полдюжины утра, а ровно в шесть надлежит быть всем в автобусе: самолет в Шереметьеве никого ждать не будет.

— Спокойной ночи, товарищи, и еще раз прошу — не опаздывать!

Семейные быстро разошлись по номерам — заканчивать сборы в дорогу, беззаботная холостая молодежь некоторое время еще погалдела в коридоре, но вскоре затихла и она.

Шумиловы управились с чемоданом и улеглись, но, как всегда перед дорогой, долго не могли уснуть. Вера несколько раз переспрашивала Кирилла, запомнил ли он, куда положили паспорта и прочие документы, и напомнила разбудить в половине пятого.

— Только ты, Кирюша, смотри не проспи, а то я ведь... сам знаешь, — проговорила она тихо, умирая от волнения, охваченная теплой ласковой волной забытья.

— Не просплю, — пообещал Кирилл. — А если что, Евстрат разбудит.

На эти слова Вера уже не откликнулась...

Кирилл еще долго, за полночь продолжал ворочаться, время от времени включал настольную лампу, смотрел на часы.

Очнулся от шума голосов, хлопанья дверьми в коридоре и вскочил, как ошпаренный. В ту же минуту — стук в дверь, и — загустевший спросонья басок Евстрата:

— Кирилл Иваныч!

И сразу же — в номер напротив:

— Фарид Файзрахманович!

Шумиловы засуетились, в момент собрались, Кирилл, как всегда дома в будничное утро перед завтраком, привел в порядок кровати, и тут появляется горничная и — с ходу:

— Зачем закрыли постели?

— А в чем дело? — спросила Вера.

— В чем, в чем! Вы что, не знаете, что после вас постели надо менять? Вас-то они сколько туда-сюда мотаются. Воспитанные! А еще за границу собрались!

Стаскивая аккуратно заправленные покрывала, она продолжала на чем свет стоит попоспирать отъезжающих, и те слышали еще ее ругань, пока шли по длинившему коридору.

Занимался рассвет. На углу, в квартале от гостиничного входа притих в ожидании туристский автобус. Возле него суетился Евстрат Фомич, сигналя большим белым блокнотом. Кирилл с Верой, как оказалось, пришли далеко не последними: свободными оставались

еще несколько сидений, из-за чего Евстрат Фомич страшно первничал и чертыхался, сжеминуто взглядывая на часы. Потеряв терпение, он хотел было идти подгонять опаздывающих, но тут, удивив всех страшной для раннего часа и своей весьма впечатительной комплексии прытью, в автобус ворвалась гостиничная дежурная, приказала водителю включить свет.

— Пропало, граждане, в номере полотенце для ног. Кто из вас взял — верните, пока не поздно! — выпалила она.

Поднялся негодящий гул.

— Какое полотенце?

— Да вы что, мамаша?

— За кого вы нас принимаете?

К этому моменту подошли и те, кто замешкался, и можно было отправляться. Однако бдительная хранительница казенного имущества никак не хотела смириться и отстала лишь после того, как молчаливый водитель завел мотор.

Но этот неожиданный пассаж не испортил настроения: душою путники были устремлены туда — в Шереметьево, и что после этого какая-то там вздорная гостиничная тетка!

Занималось будничное московское утро. Было еще полутемно, однако по улицам уже вовсю сновали автобусы, троллейбусы, трамваи, и было в них даже в этот рассветный час уже довольно много народа.

Там, куда мчал Шумиловых «Икарус», высветливало небо, на его фоне вдали обозначились темные громады гигантских домов. Постепенно они приблизились, запестрели порозовевшими от зари бесчисленными строчками окон. А внизу, у подножия этих громад, спивающихся в одно пескожелтое здание, лежало плотное сероватое покрывало тумана, поднявшегося над тихой дремлющей среди трав и кустов пеширокой рекой. Мелькнул придорожный указатель «р. Пахра», и это слово напомнило Кириллу про Твардовского, который жил тут когда-то на даче, и про отца, любившего Александра Трифоныча и эти вот подмосковные места, так похожие на равнины и светлые березовые перелески вокруг далекой отсюда родимой станицы. И все это вместе воскресило тронувшие однажды сердце строки о поднявшихся над степями туманах, о чистом поле, где белым-белом, где диким ветром замело навеки печальные чьи-то следы.

Всякий раз Кирпилл испытывал чувство вины за то, что, готовя книгу воспоминаний об отце, заменил эти строки другой стихотворной цитатой, по-своему хорошей, но все же не такой напевной, неповторимой. Вечная проклятая боязнь, что кто-то навредит, истолкует не так! Впрочем, сама жизнь давала для этого повод за поводом...

Между тем, каждая минута приближала к Шереметьеву; в одном конце автобуса орали: «Ничто на земле не проходит бесследно», в другом — «Все пройдет — и печаль, и радость» — подневал даже Евстрат, — и душевная горечь отхлынула, развеялась, как туманная пелена над очнувшейся, засиявшей вдруг на солнце рекой.

Автострада резко свернула в сторону, серым клином врезаясь в свежую мякоть леса. Еще поворот — и взору предстало впечатльное и строгое здание международного аэровокзала, огромная мраморная коробка которого со стеклянными боками резко выделялась на фоне густого молчаливого бора. Бетонная полоса аэропрома упиралась в зеленую стену берез, и они, обдаваемые ревом самолетных двигателей, вздрогивали, касаясь друг друга вершинами.

Необычное началось уже у входа в аэровокзал. Двусторонние стеклянные двери сами раскрывались перед подходящими и так же бесшумно смыкались.

За дверьми — модерн, разноцветный мрамор, посередине огромного зала — поблескивающие медью и никелем перила эскалатора. Чистота, ничего лишнего, все расчерчено, как по линейке. Правда, оказалось — поглощать присесть, но не сразу обнаружили это туристы, ошарашенные увиденным и то и дело звучащими на разных языках объявлениями: «Совершил посадку самолет Аэрофлота, прибывший рейсом из Сингапура»; «Объявляется посадка на самолет швейцарской авиакомпании, отывающий по маршруту Москва — Варшава — Цюрих»...

Не найдя в зале свободных мест, — несколько обтянутых черной кожей диванов на сверкающих металлических ножках в углу были заняты, — Шумиловы спустились эскалатором вниз, выпили в кафетерии по чашечке кофе и тут услышали про рейс СУ-171.

Наскоро рассчитались, и — наверх, к своей группе, которая, растянувшись цепочкой, двигалась за озабо-

ченным и важным, как гусак, Евстратом Фомичом к длиной стойке таможенного досмотра.

Все тут тоже оказалось в новинку: и мудреные аппараты с клавишами, рычагами и экранами, и орудовавшие возле них невозмутимые парни в форменных голубых рубахах с погошчиками и в коротких темных галстуках. Отдавало это чем-то пенашевским.

Потом еще — проверка заграничных паспортов возле маленькой, огражденной турникетом будочки, где за оконцем сидел молоденький розовошекий сержант-пограничник. Он метал снайперский взгляд прямо в глаза очередного туриста, сличая оригинал с фотографией в паспорте, возвращал владельцу через узенную щель красную книжечку, и тот шагал дальше вдоль турникета, символически переходя в этот момент государственную границу. Все внешне вроде оставалось прежним — и зал, и люстры, и мраморный пол, но екнуло отчего-то сердце Кирилла, и он, растерянно улыбнувшись, невольно коснулся ладонью Вериной руки.

Наконец все спутники, пройдя вдоль турникета, стянулись в угол огромного зала, где созидающий ответственность момента Евстрат Фомич еще раз пересчитал всех по пальцам и скомандовал:

— Идемте, товарищи!

Он подвел всех к двери в углу зала, возле которой стоял на посту такой же молоденький, подтянутый пограничник. Пройдя между солдатом и Евстратом Фомичом, Кирилл с Верой очутились в общитом светлым пластиком, изогнутом плавной дугой бункере и минуты через две вдруг попали прямо в чрево самолета. Изумленный Кирилл прежде всего глянул в иллюминатор и увидел тянувшийся от здания к борту их лайнера черный складчатый рукав галерен-трапа, по какому они только что прошли. Такие же рукава тянулись поодаль и к другим самолетам, выглядевшим уменьшенными копиями на фоне грандиозного аэровокзала.

Тягач оттащил лайнер от здания, — показалось при этом, будто тронулись с места не они, а соседние самолеты, — взревели моторы, бешеный разбег по взлетной полосе вдоль сплошной темной линии леса, и вот уже внизу — неповторимая, знакомая каждому по телепрограмме «Время» панорама огромного города. А в ушах в мощном гуле двигателей так и слышится торжественное: «Над Москвой великой, златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной...»

В детстве, когда Кирилл каждое лето летал с отцом на его родину, ему всегда в мопотонном гуле моторов чудилась какая-нибудь мелодия. И чаще всего почему-то звучали слова: «Дети разных народов, мы мечтаем о мире живем». Наверное, потому, что песню эту — «Марш демократической молодежи» — тогда почти каждый день передавали по радио. И в школьном дворе, когда строились они по классам перед уроками, из динамика гремела эта же песня, поочередно с другой, не менее известной в те годы: «Москва — Пекин, Москва — Пекин...»

Куда это только все делось — и время, и школа, и детство, и песня?..

И вот теперь, оставив за тысячи километров отсюда, в пакрытом пепельно-серым, зпойным маревом городе у подножья островерхих гор своих сыновей, кому еще кто знает какие выпадут в жизни пути-дороги, направились они не куда-нибудь — в Европу. Пусть в соседнюю братскую Болгарию, но все-таки... «Вот и мы вышли в мистеры», — вспомнилась Кириллу фраза из давнего отцовского письма. Именно так называли наших людей в американском посольстве, выдавая с лежурной учтивостью визы и заграничные паспорта на въезд в заокеанскую страну.

— Вот и мы выбились в Европы, — почти теми же словами сказал Кирилл, но Вера не рассыпалась: рядом в проходе между сиденьями оказалась уставленная бутылками тележка, и стюардесса предложила пассажирам лимонад, боржоми и маленькие бутылочки «Ракители».

— О-о, вот это дело! Дайте нам две, — протянув за бутылочками пышную руку в браслетах и перстнях, попросила девица в потертых джинсах — соседка Кирилла.

— Ничего себе... — качнул головой Кирилл, взяв бутылку боржоми и отвернувшись от смелой своей соседки.

— Скажи спасибо, что она не в нашей группе. Москвичка, видно по замашкам, — заключила Вера.

— А думаешь, среди наших нет таких?

Вера пожала плечами: поживем — увидим.

И в самом деле, еще дома, в предотъездной суете обратила на себя внимание некто Виктория. Явно привыкшая к повышенному вниманию мужчин, держалась она весьма раскованно, хотя и выдавала себя за

представительницу скромной учительской профессии. А в Москве успела поведать спутницам — среди них была и Вера, — что ее очень любит муж — юрист, что он всегда очень занят и поэтому не смог поехать вместе с нею, но она в благодарность обязательно привезет ему из-за границы какой-нибудь эффектный подарок.

С этим подарком вышла потом в Домодедове, когда уже возвращались домой, уморительная история. Оказавшись за тридевять земель от своего чересчур занятого супруга, на благословенном Солнечном берегу, на серебряной волне, на златом песочке, воспитательница юной смены так дорвалаась до удовольствий, что две или даже три ночи не почевала у себя в «Байкале» — довольно-таки скромном корпусе без излишних удобств, коими отличалось большинство здешних фешенебельных отелей, — и соседка ее по комнате — добропорядочная, годящаяся ей в матери Калерия Ивановна, майщица автобусов, крыла непутевую на чем свет стоит и даже, говорят, собиралась донести Евстрату Фомичу, который в общем-то обо всем догадывался, целыми днями резался на пляже в карты, но не забывал перед обедом, когда вся группа собиралась у входа в приморский ресторан «Орфей», сделав сугубо озабоченное лицо и таинственно приглушив голос, напоминать о необходимости строгого блюстия правила и не поддаваться искушениям. Слушая эти проповеди, Виктория — Евстрат Фомич почему-то старался на нее не смотреть — согласно кивала и улыбалась, а докучливые упреки Калерии Ивановны, говорят, отмела: отвяжитесь от меня, свои деньги платила, что хочу, то и делаю.

С этой Викторией случилась потом такая оказия. В серый, совсем уже по-осеннему дождливый полдень, особенно сумрачный после восемнадцати ярких, безоблачных дней, но все же радующий близким возвращением в родные пенаты, автобус привез Евстратову паству из центра столицы в знакомое всем, желанное Домодедово. По пути опасались одного — как бы дождь, мелкий до неразличимости, сливающийся в плотный тучан, не задержал вылет домой, но, отгоняя эту докучливую мысль, старались подогреть в себе веру в удачу и безграничные возможности Аэрофлота. Евстрат Фомич же, высокий и посеревший не то от загара, не то от бесконечных руководительских хлопот и треволганий, рвал и метал. И было отчего — сегодня, когда осталось уже так близко до конца приятного и

беззаботного для всех, но только не для него, вояжа, эта чертова педагогия выкинула еще один свой номер, оказавшийся гвоздем программы,— с утра исчезла куда-то из гостиницы и так и не явилась на центральный аэровокзал к тому самому автобусу, который привычным своим маршрутом, умело лавируя среди уличного бедлама, проследовал через центр по хрестоматийным, знакомым с детства по картинкам в учебнике площалям, набережным и проспектам, а потом, выбравшись на простор, занавешенный грязноватым мокрым пологом — сквозь него едва проглядывала бесконечная полоса молчаливого подмосковного леса,— не прибавляя скорости, долго пробирался сквозь буро-молочную мглу, пока неожиданно очутился прямо у взлетной полосы аэропрома.

Когда пилили по утонувшему в тумане шоссе, Кириллу уместно было бы думать о доме, о Болгарии, но ему почему-то, — может быть, по контрасту — припомнилось одно давнее-давнее лето... Их, студентов, измученных только что сданными экзаменами за четвертый курс, везут товарняком по страшной среднеазиатской жаре на военные сборы в Туркмению. Подробности этой изнурительной одиссеи забылись, скрытые зыбким маревом, как молчаливые, придавленные зиоем хлопковые поля Узбекистана. Остались лишь — пестрота да глиняные дувалы пригородов старого Ташкента, непривычного вкуса кок-чай за низким круглым столиком в самарканской чайхане, ослепительно-белый вокзал Ашхабада. Еще дома, в предвидении сборов, а погом в дороге ее не однажды поминали лукавым присловьем: «Есть на свете три дыры — Терmez, Кунка и Мары». Зато сразу же яркой вспышкой: игрушечный какой-то, белый — в пятнах зелени — городишко без окраин, за последней улицей — воинская часть, казармы, дальше, кажется, прямо за ними — угрюмые, однотонно-красноватые горы, замершие в вечном покорном ожидании чего-то. На одной из вершин в блеклый небосвод уставил свое большое зеленое ухо локатор. На складе, по-военному, — в АХЧ, велят оставить рюкзаки и чемоданчики, выдают — солдатское хэбэ — гимнастерки, брюки, панамы, сапоги и портянки, потом строят повзводно, и строем — в башню. Уже вечер, но жара не спадает, и городишко словно вымер: все окна в домах паглоухо закрыты ставнями. Маршируют не-

складно, невпопад бухая по асфальту непривычными еще кирзовыми сапожищами, но идут, тревожа песней сонный покой пустынных уочек. «Солнце скрылось за горо-о-ю, затуманились речные перека-аты...»

...О, это как воскреснуть — смыть с себя падельную вагонную копоть и грязь, и ребята хохочут, плещутся, с яростным восторгом драют друг другу спины. Кириллу же вдруг становится не по себе, кружится голова, подступает тошнота, и он, ополоснувшись, непослушными ватными руками с превеликим трудом натягивает на влажное тело грубое, как наjdак, хэбэ. Потом — затмение, мрак, неизвестность...

Очнулся, глядит: казарма, ряды заправленных кроватей, никого, только звезды смотрят в окна из густой небесной черноты, да в проеме двери маячит одинокая фигура. «Дневальный», — догадывается Кирилл, сует ноги в сапоги и направляется к выходу. Странно, почему-то он чувствует вину перед этим парнем. А тот, ни о чем не спрашивая, подмигивает ему — знаю, мол, все знаю, — и Кирилл выходит во двор искать своих. Перед баиной им объявляли, что вечером предстоит разбивать палатки. Но где же они? И справа, и слева, и спереди, и сзади — однообразные контуры казарм с ровными строчками неярко освещенных окон, вдали — едва различимая гряда тревожных, по-ночному таинственных гор, и над всем этим — черное-черное небо, какое сладкоречивые восточные лирики так любят сравнивать с темным бархатом. А Кириллу сейчас не до лирики. Скорее бы найти ребят, пеловко же, черт возьми, когда кто-то делает за тебя твою работу. Да и вообще — как же это можно без своих?

Вот он идет наугад между казармами, слышит стук: забивают в землю колышки. И точно: в темноте возникают очертания палаток, мельтешат фигуры. Кирилл с радостью узнает парня с биофака, хочет спросить, где филологи, и — о боже! — не может издать ни звука: язык не подчиняется ему. Есть у кого-то из русских классиков выражение — ужас безъязычья. «Господи, да что это, не сошел ли я с ума?» — мысленно спрашивает себя Кирилл. Сердце бешено колотится в груди, тело покрываеться холодной испариной, ноги слабеют, и он опускается на ящик возле палатки. А где-то в подсознании возникает сигнал-команда: «Воды! Немедленно воды!» Повинуясь, он, как лунатик, делает несколько нетвердых шагов к разверстому зеву темной палатки, не замечая больше

ничего, выхватывает взглядом бак с притороченной цепью жестяной кружкой, дрожащей рукой подносит ее к краинку и потом лихорадочными глотками, до боли в горле пьет, пьет...

Есть все же необъяснимое на свете — ну, хотя бы этот спасительный сигнал. Подумать только — кружка самой обыкновенной воды, но ощущает Кирилл, что она, простая эта вода, возвращает его сейчас к жизни. Прелюблювая освобождение, он устремляется прочь от палатки, от людей и — парадне с собой, — не сразу узнавая собственный голос, как блаженный, с первобытным, идиотическим восторгом убеждает темноту: «Это я — Кирилл Шумилов! Я попил воды и я говорю: это я — Кирилл Шумилов!»

...Утро. После завтрака — в палатку за оружием. Еще рано, но в палатке уже — как в финской бане (тогда еще, правда, о такой никто и слыхом не слыхивал). Быстро юркнуть, сдернуть автомат за ремень, — коснешься ствола — обожжет, и на занятия в пустыню за палатками. Майор Морозов, худощавый — в чем душа — преподаватель военной кафедры — все зовут его по изобретенной им для запоминания формуле угла прицела Дуйвтыщу — ведет тут и огневую подготовку, и тактику. Впрочем, зной допекает и его, и через каждые полчаса объявляется перекур. Садишься на раскаленную землю, сапоги — долой, подложишь их под пятки и до горечи в пересохшей глотке дымишь, лениво переговариваясь, ждешь возвращения в лагерь.

... — На обед стройся!

Форма — брюки в сапоги, без гимнастерки, пояс перехвачен свернутым в жгут полотенцем. И...

Путь далс-ок у нас с тобою,  
Всеселей, солдат, гляди!

Огромный, вытянутый прямоугольник столовой — ни дать, ни взять — самолетный ангар. У стены за решеткой лопасти величиной с добрый пропеллер. Рассаживаются, не обращая на него особого внимания, но тут вдруг — номер: вентилятор врубают, и мощная воздушная струя вмиг, словно бумажные, сметает со столов миски, и те с грохотом шлепаются на пол, катятся на ребре между столами. На другой день — дураков нема, каждый сразу же хватает миску с ложкой: пусть теперь лист, не страшно!

Навернешь горячего борща, запьешь компотом, и тут же с тебя — семь потов. Для того и полотенце на пояссе — снимай, выкручивай: течет, как после стирки.

А вышел из столовой — тут уже ждет цистерна с квасом, привозят из города. Цистерна не простая: стенки выложены льдом. У цистерны моментально очередь, и вот уже сокурсники — толстый добродушный Джамбул, флегматичный староста Кумар, кому так труднодается немецкий, что добрейший Осип Яковлевич Бельгер, смирившись, прощает самое чудовищное произношение, стройный красавец Игорь — с наслаждением отхлебывают из полулитровых кружек обжигающе-студеный темно-коричневый напиток. Очень тянет попить и Кирилла, но он все же перебирает себя, помня о своем рыхлом горле, — еще не хватает схватить тут ангину, а то и воспаление легких: жара-то под пятьдесят, а тут, считай, лед, только жидкий. Лучше отвернуться, отойти подальше от искушения.

Впрочем, выдержки хватает недолго. На другой же день — будь, что будет! — к цистерне становится и Кирилл. Он только что второй раз после обеда выжал полотенце и, продолжая обливаться потом, ждет своей очереди. Вот она, наконец, в руках, эта приятно холодящая ладонь массивная кружка. Глоток... другой... третий... О-о, вот это да! Тянуть, тянуть вкусную, терпкую влагу — старые беллетристы, наверное, назвали бы ее божественной, — а после... ладно, авось, обойдется, как говорит бабушка, бог не выдаст — свинья не съест.

И в самом деле обошлось: за целый месяц Кирилл ни разу не кашляет и не чихает, разве что от песка, вздымаемого каждое утро на рассвете внезапными порывами шальной афганца. Осушит до отъезда еще десятка три увесистых кружек — и хоть бы хны. Нет, что ни говори, есть, черт возьми, на свете необъяснимые вещи! Уж дома-то ему такой номер паверняка даром бы не прошел...

А в Болгарии... В Болгарии, соскучившись по чаю, пили желтеньку, цвета манго, сладкую газированную воду из маленьких бутылочек со странноватым названием «швепс», по какой-то там шведской лицензии. Ничего себе — двадцать годков от этого «швепса» до того ледяного бесподобного кваса. Тогда — еще все впереди, теперь — работа, семейство, заботы и прочее. Тогда — легкая балетка с нехитрой одежонкой, теперь — бокастые

чемоданы и сумки со всякой заграничной всячиной. Ну, конечно, перво-наперво — подарки: старшему — заветные — предел мечтаний — джинсы с кожаной пашлекой — ковбоем и мелкой, по выразительной надписью «Paris», младшему — курточки и футболки с разноцветными рисунками и эмблемой «1300 години на Болгарската държава».

Кирилл достал из Вериной сумки исписанный от корки до корки блокнот-дневник и принялся от нечего делать перечитывать свои беглые, отрывочные записи.

«13 авг. София. Разница во времени с Москвой — один час. Гид «Балкантуриста» по имени Бистра.

13-этажный отель «Плиска» недалеко от центра на «Булевард Ленин». (Никаких пересечений, подземные переходы. Скорость 80 км/час). Пестрая публика, много советских. Три лифта ходят медленно. Город зеленый, очень чистый (уборщики в чистых халатах, у них лотки с длинной ручкой, удобно, не надо наклоняться). В центре — мостовые выложены серой и желтой плиткой. Памятник русским воинам, освободителям Болгарии от турецкого ига. Вверху на копе — Александр II. Ниже — генерал Скобелев. Отлично переданы в скульптурах особенности болгарской одежды, хотя автор памятника — итальянец, его проект был лучшим в конкурсе.

Мавзолей Георгия Димитрова. Построен за шесть дней. Белый и черный мрамор. Почетный караул: стройные гвардейцы в белых, расшитых золотыми галунами мундирах, с длинным пером на киверах.

Длиннющий хвост очереди между протянутых вдоль площади красных шнурков ограждения.

Лейтенант в куртке с расстегнутым воротом (так ходят здесь все офицеры, по крайней мере, включая полковников) партиями пропускает очередь к входу в Мавзолей.

На улицах разношерстная толпа, нередко встречаются восточные женщины разных возрастов в черных — до пят — сутанах и платках-капюшонах.

Машины самых разных марок. Велосипеды, пристегнутые замком на цепи к кольцу в стене дома, к фонарной стойке на углу. Никто не тронет — не снимет фару, зеркало и т. п. Милые, маленькие, под пестрыми зонтами уличные кафе — столики, стулья с витыми спинками из железа, крашенные белой краской. Иногда это — просто маленький островок, огороженный посреди улицы. Здесь же рядом — толпа, машины, трамваи, автобу-

сы (главным образом — «Икарусы» сдвоенные), троллейбусы (довольно допотопного вида). Цена на любом городском транспорте — шесть стотинок. Никаких контролеров — пробивай компостером, и все. Начинают строить метро наши специалисты. Строить трудно: минеральные источники, археологические ценности.

Торговый центр — Булевард Витоша: пестрота, бесчисленные магазины, закусочные, кафе.

Магазин советской книги «Ленин»: каких только книг нет! Даже книга одного из наших заштатных краевых издательств о творчестве Ивана Бунина, тираж — десять тысяч.

Собор в центре огромный, высота сорок шесть метров. Кажется, собор святого Николая. Россия пожертвовала восемь килограммов золота. Купола желтеют издали даже в пасмурную погоду. Собору больше ста лет. У входа киоск: икошки (два лева), крестики на цепочках, открытки, пластинки с записью церковных песнопений. Внушительный беломраморный амвон, на нем — микрофон.

Забавная надпись на доме недалеко от отеля «Плиска»: «Бързи почишки на обувки», то есть — срочный ремонт обуви.

Вывеска: книжарница. Министерство на войната (Министерство обороны).

В центре очень много домов с черепичными крышами. Нарядно, когда смотришь сверху. Почти на каждом балконе — цветы.

14 августа вечером — встреча на трицадцатом этаже с представителем Комитета болгаро-советской дружбы. Удивительно! Особая тема.

Парень лет двадцати пяти, с небольшой обрамляющей лицо бородкой. Как-то странно, — Иван Иванович. («Кто вы?» — спросил я. — «Смеесь бульдога с посортю: смешались болгарская, польская кровь»). Учился в Москве, в студии МХАТа. Начал так: «Не люблю это слово — «мероприятие». Не люблю выступать в больших залах». Потом — недлинная, около получаса, литературная композиция — «рецитат», краткие прозаические сказки и — стихи болгарских поэтов о дружбе Болгарии и России. Понадались отличные строки.

Потом — для поднятия духа — рассказ Чехова «Отпуск», несколько душевных благодарных слов о Шукшине и — его рассказ «Чулак». Дай бог каждому русскому так прочитать эти вещи!

Потом — добрые напутствия перед нашей поездкой по стране: «Увидите вы всякое: хорошее и плохое тоже, оно есть везде, но вы плохое оставляйте, берите с собой только хорошее».

В подарок болгарскому Ивану Ивановичу — казахская деревянная расписная ложка для кумыса, моя книжка и бутылка русской. Восторг: «Это же только на Новый год пить».

Город Самоков.— Древний — основали рудокопы, кузнецы. Самоков — сам кует.

Город Пазарджик. В старину здесь был базар, крымские татары. Дорога — по плодородной Тракийской равнине: яблоки, виноград, кукуруза, табак, перец».

Кирилл осторожно, чтобы не потревожить Веру, прикорнувшую у него на плече, поерзал в кресле, размяв затекшие мышцы, рассеянно глянул в окно — все та же туманная морось — и продолжал читать.

«Этнографический музей — дом богатого купца. Зданию — 130 лет. Без реставрации. Узкие, крутые, извилистые, мощенные камнем улицы. Архитектура в стиле болгарского Возрождения.

Памятник советским воинам: «Стонт над горою Алеша». Парк, крутая, мощенная камнем дорога на верх горы. Высота памятника — восемнадцать метров. Внизу, справа от небольшой площади на взгорке — памятник герою освободительной борьбы против турок генералу Гурко. Надпись: «В царствование императора Александра II».

При выезде из Пловдива — у дороги — небольшой каменный памятник Ольге Скобелевой — матери генерала Скобелева, погибшей, сказала Бистра, «от руки австрийцев, противников дружбы Болгарии и России».

Город Чирпан («чирапан» по-болгарски — ковш) расположен в ковшеобразной Чирпанской долине. Был полностью разрушен во время землетрясения, теперь восстановлен.

Город Стара Загора (за город — отсюда название). Все улицы сходятся к старой площади, по типу древнеримского форума. Много высотных домов, по город — один из самых древних в Болгарии.

Памятник воинам-освободителям, сооружен в честь столетия освобождения Болгарии от турецкого ига. На горе — стела из гранита в современном стиле, а ниже — фигуры русских солдат, офицера и болгарских ополченцев.

Наша гостиница «Верея» на бульваре Ленина. Подушки набиты ватой, жесткие, непривычно. Внизу — ресторан, кафе. Вечером в воскресенье здесь — полно людей, главным образом молодежи. Оркестр прямо на улице, хорошая, спокойная музыка. Мирно сидят за столиками, пьют понемногу пиво, пепси-колу, разговаривают. Кое-где рядом со столиками — детские коляски.

17 августа. После завтрака выехали из Стара Загоры. На окраине — пивзавод, производит пиво «Загорка». Бистра: «Слева вы можете посмотреть на пивзавод». (В Пловдиве, когда ехали мимо закрытого по случаю воскресенья торгового центра, она сказала: «Сейчас вы можете посмотреть на лучший ковровый магазин в городе».)

Дорога, извинаясь, взбирается на гору. Знаменитый Шипкинский перевал. Храм (собор), воздвигнутый в честь освобождения Болгарии. Памятник на Шипке, к нему — тысяча ступеней. Монумент из серого камня, в виде крепости. Лев, смотрящий на восток, оттуда пришли на помощь русские. Вес льва — двадцать тонн, длина — восемь метров, высота — четыре метра. Памятник построен в 1934 году, тогда же проложена дорога. Внутри башни — мраморный саркофаг, по его углам — четыре льва, под ним — останки русских воинов и болгарских ополченцев. На стенах — стихи болгарского классика:

Кто сражался за свободу родины,  
 тот никогда не умрет.

Орлиные скалы недалеко, там тоже памятник — каменный крест. Вокруг башни — небольшие белые мраморные памятники — братские могилы.

Экскурсовод, рассказывая, листала страницы фотографии, там есть фотографии генералов Столетова и Скобелева.

Этнографический музей под открытым небом на окраине Габрово — «Этыр». В одной лавочке купили две булочки «сплит», расхваленные Бистром.

Габрово (дерево граб по-болгарски — габър, отсюда название). Памятник кузнецу, по преданию, основавшему город. Он пошел искать работу, нашел ее здесь, построил кузницу. Памятник, в духе габровцев, построен не где-нибудь, а на маленьком островке, посреди реки (очень, кстати, грязной), «чтобы не занимал место на земле».

**Наша гостиница «Янтра».** Много ходили по улицам, в центре видели Дом юмора и сатиры, перед ним забавная скульптура, комическая: какой-то чудак верхом на осле или муле. Прошли по одной из торговых улиц. Улица старая, все дома стоят впритык, в первых этажах часто попадаются лавочки, кустарные мастерские «обувщиков» и «шивачей».

Насчет обходительности продавцов. В Габрово продавцы, как у нас: купили несколько ручек, девица швырнула их на прилавок, колпачки пришлось надевать самим. (Не этих ли девиц имел в виду милый, честный Иван Иванович, напутствуя нас в Софии?).

Комичное происшествие: возвращаясь в гостиницу, зашли в закусочную купить чего-нибудь к чаю (разжились, наконец, кипятильником немецким, в красивом голубом футляре, купили тут же, в Габрово, у себя дома несколько лет не могли), и я попросил у немолодой уже продавщицы булочку, и она весьма удивленно взглянула на меня, а Вера, как только вышли за порог, чуть не упала от смеха. «Булка» ведь — «невеста», а я-то совсем забыл. Ну что ж, на то и Габрово — город смеха.

18 августа. Утром еще часа полтора ходили по городу. Река Янтра не блещет чистотой: видели, как в нее вливалась какая-то красноватая жидкость.

В одиннадцать утра выехали на Солнечный берег — снова через знакомый уже Шипкинский перевал. Снова по обеим сторонам дороги — бесконечные сады, виноградники, поля кукурузы, подсолнухов, лекарственных растений — лаванды, еще чего-то.

Город Казанлык. Компактный, чистый, нарядный. По улице генерала Скобелева подъехали к ресторану «Казанлык». Роскошный зал, столики на двоих, на каждом — по розе в специальной розетке с водой: роза пассаживается на специальные иглы. Скатерти потрясающей белизны.

Дорожный указатель: одна стрела — на Бургас, другая — Варну. И еще — Солнечный берег.

Вдруг — скопление машин, мелькание разнокалиберных отелей. На одной из аллей — наш скромный, не очень приметный на фоне высотных гостиниц пятиэтажный «Байкал». У нас номер на втором этаже. Вход во все номера — с террасы, выходящей на аллею. По аллее время от времени прослужает старинный фаэтон, запряженный парой лошадей. Извозчик в цилиндре, в жилет-

ке и во фраке. Когда стемнело, на фаэтоне зажгли фонари.

Ужинали в ресторане «Орфей» на самом берегу. Посмотрели на яркие огни Несебра, уходящие нарядным ожерельем в море. Возвращаясь вдвоем в гостиницу, заблудились. Поглязели на витрины магазинов с вывесками «Добре дошли в базар Несебр», «Базар Созопол». Свой отель кое-как, паконец, разыскали, и я записал перед сном впечатления прошедшего дня.

22 августа. Вечер в национальном болгарском ресторане. Зал в продолговатом подвальном помещении, разделенном на отдельные отсеки. Стены выложены кирпичом без штукатурки. Солидный мужчина в очках за маленьким столиком изображает радушне, а сам без конца заполняет какой-то гроссбух. Для нас тут — развлечение, для него — работа. Как и для другого дюжего молодца с фотоаппаратом, предложившего нам свои услуги. Показал образцы — хорошие цветные снимки. Хотели его угостить — отказался, говорит, я за рулем, а штраф — пятьсот левов да еще на два года запрет водить машину. КАТ (Контроль на автомобилях транспорта) — болгарское ГАИ — строгое.

В зале — грубые низкие деревянные столы, тяжелые стулья, керамическая посуда. В керамических бокалах — болгарская вода — ракия. Неприменимый салат из помидоров и перца, посыпанных брынзой. Какое-то блюдо из мяса с пакрошенным луком в соусе. Хлеб, как всегда, только белый. Танцы под оркестр в узком проходе между столами. Несли. Иван Иваныч — не тот, болгарский, а из нашей группы, мировой мужик — проявил настояще рыцарство: преподнес своей жене букетик гвоздик, павязанный бойким разноочником цветов, а она, белая, приняла букет чуть не плака: левы-то и без того на исходе. А без левов тут — никуда, даже и ко нужде не сходишь.

Пишу около двенадцати ночи, а с аллеи доносится цокот копыт: несмотря на испанскую погоду, фаэтоны (или — как их там? — фаэтоны) с закрытым по случаю дождя верхом катают отыкающих бездельников, проматывающих лишние деньги.

Попутно: в полдень над пляжем со стороны моря пролетела большая стая диких гусей, а вечером прошел довольно сильный дождь. Они, что ли, привнесли его на своих крыльях?

23 августа. Утром очередь вдоль витрины одного из

магазинов в ожидании открытия. Знакомая мова: «Кто крайний?» В очереди разговорчики: кто где что купил и т. п. Сетовашня, что туристская программа не позволяет вдоволь пошнырять по магазинам: оказываются закрытыми. Советы: если вам надо вложить деньги, купите хрусталь — вчера был хороший хрусталь на базаре «Пальма» — или цветной тюль.

Магазины открыли, кое-кто из ушлых полез без очереди.

Иностранных здесь не видать, те все больше болгарскими сувенирами интересуются.

24 августа. Поездка в Несебр. Остановки четыре на автобусе. Порт. Сразу — мощеная улица в гору. Каменные стены. Надписи по-немецки и по-болгарски: «Подниматься на крепостные стены запрещено». Старая каменная часовня. На шпиле — чайка. Лавочки, магазины. Штурмующая их пестрая, разноязычная толпа.

Времени у нас мало. Приехать бы сюда еще.

26 августа. Мечта наша сбылась — два часа бродили по Несебру. С землей его соединяет узкий перешеек, целиком запятый дорогой. Крепостная стена — в самой низкой части острова, весь же город — наверху, высоко над морем. Узкие, искусно вымощенные камнем, вытянутые подковой улочки. Машины, стоящие на тротуарах. Интересны названия: улица Русалка, улица Нептуна. Старухи болгарки в черном, торгующие морскими ракушками, бусами и т. п. Многие — с вязальными спицами, вяжут: торговля идет вяло. Одна хозяйка держит свой товар на подоконнике кухни, торгует, не выходя за порог.

Все застроено на острове, ни клочка свободной земли. Несколько древних — XI—XIII веков — каменных часовен — Святого Стефана и др. Одна полуразрушена: сохранились три каменных стены. В двух часовнях — музеи. Группками бродят туристы, снимаются на фоне старинных домов. Русской речи тут мы ни разу не услышали. Наши туристы обычно застrevают внизу, в магазинах и лавках.

Древность — древностью, по городу надо жить. Видели тут приемный пункт химчистки, детский сад: ребятишки играют в тесном дворе у самого берега, и нет им до туристов никакого дела. В маленьких, аккуратных двориках на веревках сушится белье, в глаза лезут белые трусы, не слишком-то идеально простирающие. Селя ви!

27 августа. Море чистое, спокойное. Водорослей как не бывало, на дне много ракушек. Обтачивая их о камень, местные жители делают украшения. Кое-кто из туристов тоже занялся этим, сидя у самой воды.

Евстрат с товарищами культурно проводит досуг — режется под пляжным зонтиком в карты. Изо дня в день. Искупались. По пляжу водят осликов — катают ребятишек. На осликах звенят бубенцы.

29 августа. Стычка за завтраком с Евстратом. Причина: приветливый официант болгарин, которого я противопоставил угрюмому шоферу туристского автобуса, шесть дней возившему нас по стране.

Штрихи к портрету Евстрата: когда ехали через весь город из Домодедова в район ВДНХ, Вере — единственной из женщин — пришлось полтора часа трястись на ногах, а он — руководитель группы! — как ни в чем не бывало сидел.

Второе: заткнул рот, и кому — Ивану Ивановичу! — когда тот хотел нам по-актерски представиться. Недаром чуть позже деликатный Иван Иванович не без подтекста понтересовался, откуда у Евстрата такое диковинное имя.

Третье: сказал, что ненавидит книги (каково?!) с тех пор, как студентом пронес чемодан с учебниками и ощущил, что они имеют, кроме всего прочего, немалый вес. Он страшно удивился, узнав, что мы в Софии купили книги, это показалось ему абсурдом. Был обескуражен, когда мы отказались от бутылки водки, предложенной им в порядке компенсации за ту самую, которую мы презентовали Ивану Ивановичу.

Да всего и не запишешь...

Словом, фрукт еще тот!

31 августа. Вечером — отъезд. Аэропорт в Бургасе. Понятная без перевода, берущая за душу надпись на фронтоне: «Мила родино, ти си земен рай!». И правду — может ли что-нибудь на свете быть дороже родины!

Спасибо, дорогой Иван Иванович. Мы возьмем с собой и будем помнить только доброе.

«Хороша страна Болгария...»

Только прочитал Кирилл последнюю фразу, как тут же услышал ее наяву. В автобусе, почуяв близкое завершение пути, грянули:

Хороша-а страна Болгария,  
А Россия лучше всех!

Поти все, даже Вера, не наделенная тонким музикальным слухом, подтягивала негромко. Молчал один Евстрат Фомич. Сидел он набычившись, перекатывая по щеками опавшими щеками крупные желваки. Его явно раздражало бодрое настроение спутников, этакий стихийный всплеск общей радости и оптимизма. С тревожной тоской ждал он приезда в аэропорт, сверля глазами сырую, непроглядную морось.

Кирилл представил ход его теперешних рассуждений. Небось думает: черт возьми, все обошлось бы, так нет, угораздило же вертихвостку! Да еще и мужика с панталыку сбила. То-то этот таксист все к ней там прибортовывался. А вдруг их в аэропорту не окажется! Скандал! Донесут на работу... Что тогда скажет начальство?

Между тем автобус через ворота рядом со зданием зеровокзала выехал на летное поле и тут же остановился. Евстрат Фомич, жертвуя авторитетом, резво кинулся искать пропавших. Стройная девица в пилотке и непромокаемом плаще предложила следовать за ней, и через несколько минут путешественники уже поднимались по трапу.

Дождь еще прибавил, и было приятно усесться в кресла, удобнее устроиться и думать, что вот через какие-то четыре часа — дом, Аркадий с Мишкой, радостная суматоха встречи, сумбурный — с пятого на десятое — разговор, разбор подарков, горящие петардами и любопытством глаза и — то и дело — бесподобное, восторженное «ух ты!», какое в устах маленького Кирилла так восторгало когда-то отца.

В последний момент мокрой, растрепанной птицей летел по трапу запыхавшийся Евстрат Фомич. Так и не найдя Викторию с таксистом, он обреченно, ни на него не глядя, плюхнулся на сиденье и словно застыл. Трап медленно поехал в сторону. Все! Надеяться больше было не на что.

Вдруг те, кто сидел у правого борта — и Кирилл тоже — заметили бегущую к самолету по тусклой поблескивающему бетону пару.

— Смотрите, смотрите, наши! — будто испугавшись, оскалинула экспансивная Катерина. Кирилл и Вера пришли к иллюминатору и сквозь ползущие по нему

канскось струйки увидели Викторию в коротком раскрытом плаще, с сумочкой на перекинутом через плечо ремешке и рядом — толстенького таксиста с чемоданом и огромным картонным коробом. За ними вдогонку поспешала, что-то крича, тоненькая, как оса, длинноногая служительница Аэрофлота. Видимо, она велела нарушителям вернуться, но те в азарте не слышали ее и остановились только тогда, когда наступили на тугую воздушную струю из сопел ревущих реактивных двигателей. Кирилл непроизвольно взглянул на Евстрата: тот по-прежнему тупо, безучастно смотрел в степку, словно происходящее вовсе не интересовало его.

Самолет, чуть дрогнув, медленно двинулся по бетонке, выруливая на зеленую полосу, стал разворачиваться, и Виктория с таксистом тут же пропали из поля зрения.

— А я знаю, почему они опоздали, — сказала Вера, когда после набора высоты гул в салоне сделался равномернее и глушше.

Кирилл вопросительно вскинул брови.

— Да из-за люстры же! Помнишь, она собиралась подарок заграничный привезти своему юристу?

— Ну?

— Ну вот, а потом смекнула — на кой с люстрой оттуда тащиться, коли и в Москве достать можно. Жалко ведь левов-то. А люстра все равно импортная, и куда дешевле у нас продается. А там поди разбери, откуда товар объявился.

— Ловко! — рассмеялся Кирилл. — Но все равно прогадала: подарочек-то теперь недешево обойдется. Билет аэроформляй, и памыкаешься еще, рейса ожидаючи.

— Ничего, выкрутится, с таких всегда, как с гуся вода.

И действительно, вскоре, в первый же свой послеотпускной рабочий день Кирилл, отправившись на службу в автобусе, увидел за рулем дружка толстенького таксиста, и узнал, что они с Викторией прилетели домой полтора часа спустя, следующим же рейсом.

Евстрат Фомич, спасибо приступив к исполнению служебных обязанностей специалиста по аграрной части, как и прежде, степенно, с гордо поднятой головой шагал по устланым яркой ковровой дорожкой служебным коридорам, преисполненный сознанием достойно выполненной общественной миссии.

Прошел, правда, слух, будто в контору, ведающую путевками, недовольные евстратовым руководством коснулись о нем написали, но ходу бумаге этой в конторе, видимо, решили не давать.

Ну ладно, Евстрат Фомич, худо ли, хорошо ли, но с тобой совершил еще один виток жизни. Так бы и встречались мы, равнодушно обменявшиеся дежурными «добрый день», «здравьте». Но теперь-то я знаю, какие удивительные люди украшают наш весьма авторитетный, уважаемый коллектив.

Переезжали Шумиловы на новую квартиру в конце зимы, в те самые дни, когда обычно, сколько Кирилл себя помнит, свирепствует, хотя и недолго, редкий для южных краев, прямо-таки по-сибирски трескучий мороз. Было дело даже — Кирилл тогда учился не то в пятом, не то в шестом классе — из-за предмартовских этих холдов в школу почти неделю не ходили.

Вот и тут ничего себе поджал морозец.

Ну, правда, и теща жару поддавала — командовала парадом по всей форме. Стоя у подъезда, среди вынесенного на тротуар скарба, указывала Кирилловым сослуживцам, какую вещь за что брать, как поднимать, каким боком и куда ставить. Погрузка все же прошла успешно, если не считать разбитой банки варенья, которую нечаянно задел ногой один из самых могучих грузчиков — неповоротливый Никодим Осипович, эпинок и попечитель изобразительного искусства. Темно-вишневое пятно, расплывшееся на грязном снегу под сокрушенное тело: «О, господи, да что же это?», и чей-то озорной выкрик: «К счастью!» — остались как зыбкий след прошедшего на этой когда-то тихой, мощеной булыжником, а теперь давно уже наглухо — живого места не найдешь — закованной в асфальт, сменившей свое старое название на новое, идеологически выдержанное, окутанной стойким бензиновым смрадом, улице.

Вся предыдущая жизнь Кирилла прошла здесь, в этом построенном незадолго до войны трехэтажном доме, который назывался жутковато — седьмой жилкомбинат. Как-то Кириллу пришлось просматривать в библиотеке старые, пропахшие пылью газетные подшивки, и там он увидел на крупном снимке свой «жилкомбинат» и почувствовал, что, как ни странно, прожил уже на свете немало.

Дом стоял на старой улице, где они с ребятишками прямо посреди дороги целыми днями гоняли тряпичный мяч, где тишину только и нарушали ранними утрами неспешно погромыхивающие по булыжной мостовой телеги ассенизаторов с огромными бочками да иногда — звонкие зазывные выкрики точильщика с переносным станком за спиной: «Точить нож-жи, нож-жницы, бритвы править!». И еще отчетливо врезался в память стук толстых деревянных сандалий пленных японцев, которых строем пригоняли рыть вдоль улицы глубокую, длинную траншею. Работали они как раз напротив дома, и Кирилла вместе с дружками так и тянуло поглязеть на них, послушать их странную речь. Потом японцы как-то сразу и незаметно исчезли. Уже гораздо позднее Кирилл узнал все исторические обстоятельства, которым он и его сверстники были обязаны знакомством с теми диковинными землекопами. Как они выглядели, позднее забылось, а вот стук деревянных подошв почтительно до сих пор стоит в ушах, как гул прибоя в морской раковине.

А на перекрестке, где теперь перед светофором то и дело скапливается урчащее и фыркающее машинное стадо, стояла на деревянном помосте над арыком пивиущийся Сенька-дурак, на спор с ребятишками, плясал там среди столов, по-жеребачьи взбрыкивая длинными ногами («Дурак пляшет — ума нет, перестанет или нет?» — говорила Кириллова бабушка), и пел бог знает откуда взятые частушки про пионеров, которые «папу-маму не боятся».

Учился этот Сенька через пень-колоду, школу так и не окончил, неизвестно чем занимался, а через некоторое время поразил всю округу, женившись на кандидате филологических наук, да еще с автомобилем — «Москвичом» в придачу! Правда, кандидатша была на пятнадцать лет старше, не пашла, говорили, порядочно-го мужика, вот и позарилась на олуха царя небесного. Зато теперь, подъехав к дому, Сенька нарочно медленно закрывал на ключ дверцу, обходил машину кругом, перескучур внимательно осматривая колеса, и только потом спускался в сырой, воинский подвал, где продолжала обитать однокая беспутная Сенькина мамаша — дворничиха Муся, которая после его пересезда чаще, чем раньше, ходила растрепанной, с лиловыми разводами на опухшись физиономии — автографами буйных, неведомых

миру поклонников. Сенька отрастил пижонские — щечками — усы и не спеша, солидно раскланиваясь, проходил мимо вечно судачащих о чем-то у подъезда представительниц местной дворовой общественности. Они же, до сих пор не простившие Сеньке былых дьявольских выходок, поджав губы, полу презрительно отвечали на приветствие, а как только он исчезал за дверью, язвительно говорили: «Ишь ты, смотри-ка: дурак-дурак, а умный!»

В доме был хлебный магазин, и от него в первые несметные послевоенные годы перед майскими и ноябрьскими праздниками продавали муку — по килограмму в одни руки. Это событие всякий раз выбивало жизнь из обычной колеи. Родители не пускали детей в школу, от безвыходности брали их с собой в этот жуткий, забитый гудящей толпой двор, чтобы добыть для семьи еще хотя бы килограмм-другой. Возбужденная людская масса колыхалась, вскипала вороликами, тут и там сквозь глухой гул раздавались истошные крики взятых теснотой в железные тиски женщин, старающихся оградить собой своих насмерть перепуганных, беззащитных, как птенцы в бурю, ребятишек... Кирилл тоже — вместе со своей нестарой тогда еще, боевой бабушкой, родом волжанкой — дважды ходил на страшный мучной промысел и по сей день ясно помнит, как дикая людская волна вдруг подхватила их и понесла, готовясь вот-вот вдавить в стену, и как дико закричала бабушка, обхватив его крест-накрест крепкими руками...

В этот жуткий момент сквозь арку с улицы врезалась в толпу конная милиция. Толпа дрогнула, ослабив свой несокрушимый, гибельный напор. Почувствовав это, бабушка тут же пробилась к арке и, таща за собой Кирилла, сквозь узкий, проделанный конями проход вывела Кирилла на волю. С тех пор ему всегда не по себе становится среди людских скопищ, сам их вид уже вызывает смущение, безотчетное чувство глухой тоски и тревоги...

...Эх, бабушка, кормилица-поплица, надежная защитница от всяких передряг и исурядиц! Отец в те годы бывал только наездами, а постоянно, как Пушкин в Михайловском, жил за тридевять земель в своей станице где-то под боком у Сибири, где не было гор, а была только ровная степь, да озера, да березовые перелески. Мать целыми днями пропадала в своей редакции (тогда работали до вечера даже и по субботам), да случалось сие и поздние дежурства в типографии, и могла уделить

Кириллу внимание только по воскресеньям. Вот и получалось, что вся его ребячья жизнь проходила под бабушкиной уютной и нестрогою опекой. Стоило кому-нибудь из мальчишек обозвать Кирилла странным прозвищем «тутутушкин», которое почему-то, как, наверное, бывает только в детстве, казалось ему обидным до слез и всякий раз выводило его из себя, бабушка коршунихой кинется на улицу, сделает свирепое лицо и, потрясая пальцем высоко над головой, станет грозить всем разлетевшимся кто куда обидчикам:

— Ух, вы, скалдыриники, я вот вам щас!

Угрозами, правда, все и кончалось, а успокоенному Кириллу ничего не стоило через какие-нибудь полчаса самозабвенно гонять со «скандырниками» лохматый тряпичный мяч под своим балконом.

Нет, опекая, бабушка никогда не стремилась оторвать его от ребячьеи гоп-компани, и ему, как и прошим, случалось бывать во всяческих перделках.

Однажды, разбившись на две команды, сражались в футбол в Сосновом парке. Кирилла поставили вратарем, и его так и распирало от гордости, хотя ворота-то были — куст да ржавая садовая лейка. Забыв обо всем на свете, кроме маленького тугого резинового мячика, сменившего, наконец, тряпичный, Кирилл прыгал за мячом, как на пружинах, то и дело, даже и без особой нужды, падал, самоутвержденно ссаживая коленки и локти, подобрительные, кружасшие голову возгласы «на сухую», болельщиков. К тому же свои выигрывали «на сухую», и Кирилл был на седьмом небе от счастья. Но тут изменившая фортуна преподнесла вдруг горчайший сюрприз: кого-то из соперников сбили с ног, все они дружно застопорили: «Пепдал!», и судья — все тот же Сенька-заря — назначил в Кирилловы ворота самый жестокий из штрафных ударов. Сенька степенно отсчитал одиннадцать шагов. Противник тоже долго примеривался, двигал мячик туда-сюда и, наконец, установил в неместе — на травяной кочке. В нее-то и впился Сенька-заря, разбежался, удар... Вытянув грахнулся, глядя прямо на острый край искореженной лейки, чуть не пасквиль свою румянную щеку. Общее замешательство, кровища, кто-то в попыхах сует Кириллу грязные подорожника, кто-то мочит в фонтанчике гульбей — к бабушке — к кому же еще!; та — «господи, господи!»

тащит в больницу, там — укол, щеку промывают, пакла-  
дывают шов... Все страхи позади, и бабушка к возвраще-  
нию с работы ничего не подозревающей матери успевает  
отпопить его паваристым куриным бульоном. Шрам воз-  
ле уголка рта остался навсегда, затерявшийся с годами  
среди невесть откуда взявшимся морщин и морщинок...

Гурьбой, в одншаковых вылинявших трусах, босиком  
по расплавленному жарой тротуару — как только ноги  
выдерживали? — ходили на Пугасов мост — купаться в  
запруде возле асфальтового завода. А то еще и дальше  
черти носили — через весь город — на озеро в парк Мак-  
симиша Горького. Часть пути туда можно было проехать  
трамваем, но в трамваях тогда были кондукторши, ко-  
леса же в карманах — да, впрочем, и самих карманов —  
сроду не водилось. Однажды Кириллов дружок и со-  
сед — он жил в их подъезде этажом выше — баламут  
Сашка Тернин подбил-таки Кирилла прокатиться, и  
они — авось пронесет — пристроились на задней пло-  
щадке. Однако проехать удалось всего одну остановку.  
Не успели приблизиться к следующей, как наступило  
возмездие: кондукторша, распаренная, тучная, косматая,  
наметанным взглядом сразу же угадала безбилетников.  
Глаза ее зажглись злобной радостью, и она безо всяких  
разговоров вытолкнула их одного за другим на дорогу.  
Кирилл отделался тем, что ободрал спину, проехав по  
асфальту, а Сашке пришлось похуже — тот, ударившись  
боком, сломал руку. В квартале от «места происшест-  
вия» работала в какой-то конторе Сашкина мать, и они,  
ополоснувшись тугой струей из колонки, направились  
туда, сопровождаемые удивленными взглядами прохо-  
жих. Сашкина мать охать не стала, тут же позвонила  
бабушке Кирилла, отвела дружков в больницу и сразу  
же вернулась в свою контору. Домой они, перебинто-  
ванные, но гордые шагали уже в сопровождении бабуш-  
ки, которая, ничуть их не укоряя, вовсю поносила  
злодейку кондукторшу: «Креста на ней, проклятущей,  
нету!»

Сашка ухитрился запомнить трамвайный номер; роди-  
тели его в тот же день разыскали кондукторшу и по-  
дали на нее в суд. Но та плакала, клеймила своего мужа-пропойцу, умоляла пожалеть маленьких ребятишек,  
которым, если засудят, — хоть с сумой по миру.

Детские сердца отходчивы: представили Кирилл с  
Сашкой себя на месте тех ребятишек — и совсем пере-  
стали сердиться на кондукторшу...

Злоключения Сашки на этом не кончились. В том же году он еще раз сломал только что зажившую руку, свалившись с могучего, развесистого дуба, что рос на углу, через дорогу от дома. Тогда мальчишки буквально ошалели от американского фильма «Тарзан» и, подражая его неотразимому герою, взирались на деревья, привязывали к веткам веревки — «лианы» и отчаянно раскачивались, оглашая улицу гортанными криками. Кирилл с Сашкой тоже посмотрели эту картину в стареньком, похожем на саманный сарай кинотеатрике, от которого давно уже не осталось следа: на его месте построен большой жилой дом. Сашка, заразившись тарзаньей лихорадкой, решил перещеголять дворовых мальчишек, взобрался выше всех по толстому стволу, скрывшись в густой кроне, и вдруг, оступившись, сорвался. Но бог снова спас Сашку: каким-то чудом, перед тем, как упасть на землю, ему удалось на мгновение зацепиться за самую нижнюю, надежную ветку, и это пампого смягчило удар. И опять долго, дольше прежнего ходил он с перевязанной рукой: дважды переломленная кость срасталась трудно...

И осталась еще в память о Сашке забавная скороговорка про японцев, которую он часто любил повторять. Кирилл удивительным образом запомнил ее на всю жизнь и забавлял ею сперва маленького Аркашку, а потом и Мишку. Они и сами порой не отказывали себе в удовольствии повторять пелевые, но складные, затейливые строчки:

Жили-были три японца —  
Як, Як Цедрак, Як Цедрак Цедроши.  
Жили-были три японки —  
Цыпли, Цыпли Дрыпли, Цыпли Дрыпли Лимпопоши.

Вот женился Як на Цыпли,  
Як Цедрак — на Цыпли Дрыпли,  
Як Цедрак Цедроши —  
На Цыпли Дрыпли Лимпопоши.

Вот у них родились дети —  
Як, Як Цедрак, Як Цедрак Цедроши.  
Вот у них родились дочки —  
Цыпли, Цыпли Дрыпли, Цыпли Дрыпли Лимпопоши.

Вот женился Як на Цыпли,  
Як Цедрак — на Цыпли Дрыпли,  
Як Цедрак Цедроши —  
На Цыпли Дрыпли Лимпопоши.

И снова — по тому же кругу:

Вот у них родились дети...

И так — до бесконечности, пока не надоест.

Удивительно, но, кроме Сашки, Кирилл ни от кого и никогда в жизни подобной скороговорки больше не слышал...

Домов тогда в городе строили мало, никто из соседей никуда не пересажал, как поселились, так и обитали на одном месте, привыкнув — хочешь-не хочешь — принимать и терпеть друг друга. Рядом с Шумиловыми — дверь в дверь — жило довольно странное семейство Варенцовы — отец и мать с сыном, немного старше Кирилла, замкнутым, чурающимся шумных мальчишеских игр Олегом, которого ребята почему-то звали павыворот — Гело. Появились они в конце войны. Как потом узналось, Варенцов долго служил по интендантской части и вышел в отставку в чине полковника. Первое время у него был денщик — полагалось по чину, и это прямо-таки поразило маленького Кирилла. Сам денщик, правда, скоро исчез — война кончилась, и их, должно быть, упраздили, — но и до сих пор отчетливо помнятся Кириллу начищенные, пахнущие ваксой полковничьи сапоги; денщик драил их на площадке и оставлял там на время проветриваться. Жена Варенцова преподавала в музыкальной школе, а дома — слышалось через стенку — изо дня в день монотонно бренчала на пианино. Сам же полковник был ужасным домоседом, да и ходить-то ему было некуда. Пенсию и то доставляли прямо на дом, а почту раскладывали по висящим на каждой двери почтовым ящикам.

Выйдут, бывало, одновременно бабушка с полковником на площадку, тот как всегда в валенках и безрукавке на ватине, поздороваются, выпут газеты и — опять по домам. Но однажды Кирилл услышал редкостный их разговор. Бабушка, перед тем как выпут газеты, решила вытереть пыль с ящика. За этим и застал ее полковник.

— Что это вы делаете, Дарья Ивановна? — спросил он.

— Пыль вытираю. А что? — удивилась бабушка.

— Да чего ее вытирать-то? Накопится — сама упадет!

Длиннее этой фразы Кирилл из его уст сроду не слышал. Потом полковник захворал и однажды ночью, во сне, помер так же тихо, как и жил. Помянули его по-соседски, стеснясь в узкой, с окном во двор, загроможденной мебелью комнате. Откуда-то, верно, со всего двора, набралось много дряхлых старушек. Поели лапши, запили компотом, поплакали, повздыхали, сказали полковнице разные утешительные слова. Видел Кирилл — это были первые в его жизни поминки, — всилачила и бабушка, а плакала она редко: таков уж был ее гордый характер. До этого лишь однажды заметила Кирилл слезы на бабушкином лице, после того, как она, сама не своя, с багровыми первыми пятнами на щеках и на шее, вернулась из жестоких магазинных батальй, где, видно, с кем-то крепко поцарапалась, но на вопрос встревоженного внука ничего не сказала, не пожаловалась, только махнула рукой.

Уважала бабушка Варенкова, а к другим соседям относилась главным образом критически. Правда, и было за что. Ну, скажем, как нищие можно было относиться к тому же, например, Загоруеву — разжиревшему, с красной бульдожьей физиономией («Онить занизил шары, голубчик», — говорила бабушка) соседу с первого этажа, ходившему на людях тихой саной, а дома с иными глазами нудовыми кустаками учившему покорности жену, да еще на глазах сына.

Одно время Загоруев был каким-то мелким начальником, заведовал ремонтной мастерской и разъезжал даже на персональном автомобиле — маленьком кургужом «Москвиче», куда кое-как, непостижимым образом спускался. Но это ничуть не умаляло важности, с какой он, особенно «под этим делом», выхтя и отдуваясь, вылезал из машины и, тяжело поднявшись по ступеням, долго бухал в свою обшитую прдорванной дерюгой дверь. Жена сиранивала «Кто?» и он громко, на весь подъезд объяснял:

— Ваш ангел.

Зная поров своего благоверного, супруга частенько не выпускала его в дом, и тогда он, резко меняя тактику, подходил к квартире с тыла, яро матерился и грозил домочадцам в окна своими огромными кулачицами.

Засыпав сплю глахие удары, бабушка обыкновенно говорила

— Вини, ангел-то онять, должно быть, налакадся. Так и пристало к толстяку бабушкино прозвище,

Сколько Кирилл себя помнит, вечно маялась бабушка от жары и духоты. Ей, выросшей на открытом волжском приволье, не хватало тут, в недоступном ветрам городе, ни свежести, ни простора.

Бабушка была для Кирилла его Ариной Родионовной, и воспитательницей, и просветителем. В разговорном общоде были у нее особые присказки, поговорки, какие Кирилл не слышал больше ни от кого. Ежели придется к слову, бабушка и ввернет, бывало, какую-нибудь из складных своих присказок. Красивый, скажет, как мериин сивый, или — хороши дед Ерош, или — вижу кошку рыжу, или, скажет, сынок — масляный блинок, или — вкусный, как лист капустный, или — кусочек с куриным носочком, или — вышло хомут да дышло, или — вроде Володи, наподобие Петра. Запомнились Кириллу и такие лукавые бабушкины присловья:

О-х-о-х — хохонюшки,  
Трудно жить Афонюшке.

Ты сыграй, а я спою  
Про Матаню про мою.

Гармонь нова, гармонь стара.  
Гармонь — девицкая забава.

Как наелась киселя,  
Стала баба весела.

Рыжий красного спросил:  
«Чем ты бороду красил?»

Когда вскрывался чай-нибудь обман, бабушка говорила: «Хитрый Митрий, в штаны наклал, да говорит — заржалево». А если кто управится быстро с делом: «Не успела стрижена девка косу заплести». А то паденет очки, бегло просмотрит почту из ящика, зевнет и как бы подытожит: «Пишет писака, а читать будет собака».

Были у нее и поговорки на разные случаи жизни: «Лез с печи, а ветер был встречи», «На каждый чих не надзравствуешься», «Ученого учить — только портить», «Виден сокол по полету, добрый молодец — по соплям», «Доходы попомарские, а расходы генеральские», «Подперло к гузну узлом» — пусть порой и грубоватые, зато природные. Сами собой, незаметно для Кирилла, они вошли и в его речевой обиход, и уже лет через пятнадцать после бабушкиной кончины он вдруг ощутил потребность припомнить любимые се выражения, а при-

помнив, занес в записную книжку, и на душе вроде бы стало отчего-то спокойнее.

Сказок бабушка не рассказывала, зато с каким интересом слушал Кирилл ее печастые — под настроение — воспоминания о молодости, о прежнем житье-бытье, о том, как они с Кирилловым дедом, окончившим знаменитый Казанский университет, поженившись, целых два месяца добирались на перекладных с волжских берегов, через всю Россию, через горы и долы, в какой-то неведомый Верный, куда деда послали работать врачом. Было это за семь лет до «переворота», как называла бабушка революцию.

Родителей своих она не помнила: рано осталась сиротой.

— Но, знаешь, Кирюша, — говорила она в этом месте своих повествований, — были, слава богу, и до переворота добрые люди. Когда я уже немного подросла, взял меня в дом один богатый купец: зерном торговал, амбары у него хлебные по берегу Волги стояли. Ну, вот, и жила, делала кой-какую горничную работу. Хозяева были довольны, не обижали меня. А подошли девичьи года — на цепи держать не стали, вишь, и деда-то во время мне судьба навстречу послала. Не-ет, Кирюша, ты не говори, — просила она, хотя внук и не думал перечить, — были и до переворота хорошие люди!

— А как тогда жили, ну, до революции-то? — спрашивал Кирилл.

— Да как? Так и жили — не тужили... Чиновники — те до трех часов только работали. Придут среди бела дня со службы, пообедают, да и на боковую — соснут этак часок-другой. Ну, а вечером там прогуляться выйдут, воздухом подышать. Потом ужинали всем семейством кто на веранде, а кто где-нибудь в саду под яблоней. На столе — самовар, варенья разные, а кругом свежо, тихо, птицы поют. Хорошо... А праздников, Кирюшка, сколько было — все теперь и не вспомнить, и не перечесть. Одних только церковных: и пасха, и масленица, и страстная неделя, и великий Спас, и Николай-угодник... Вот, почитай, только и успевали, что праздновать...

— Разве так бывает? — высказывал сомнение Кирилл. — А кто ж тогда работал?

— Да я же тебе и говорю кто: чиновники. За полдня, стало быть, со службой управлялись. Вон дед твой, например, смог ведь на доктора выучиться. Да еще какого! Первая больница-то тут, в Верном, с него ведь и

началась. А уж он сам учил лекарскому ремеслу кого-кого из местных. Слава про него пошла: со всей округи на подводах съезжались со всякими недугами. Сам городничко — ничего, нам понравился: тишина, сады кругом, арыки журчат, да такие чистые — воду из них пили. А в сатах-то — боже, чего только нет! Воз яблок пять рублей стоил... А тут — случился этот самый переворот...

Бабушка делала паузу, верно, мысленным взором скользящею то тревожное время.

— Ну, а дальше что?

— Дальше-то? Смута была — не поймешь сначала, что к чему. По домам стали какие-то с ружьями шарить: излишки отбирали в пользу, значит, новой власти. У нас тоже забрали кое-чего. Ну, слава богу, самого деда не тронули: куда ни кинь, только сделался он после переворота еще нужнее, чем прежде. Голод пошел, мор, напасти страшные. Я тоже работать стала — в дедовой больнице кастеляншей, с бельем, значит, управлялась. А деда-то только урывками и видела: то туда отправится на эпидемию, то туда. Он, знаешь, не такой был, чтоб других заместо себя посыпать: совесть не позволяла. Ну, вот и не уберегся... Поехал в Талгар — есть тут возле гор такое село — обоз с чумными набирать, там в бараке-то и заразился. Как вернулись — три дня всего прожил... Остались мы одни с Леной — малая она еще была, — ни родни у нас, никого. А вот бог, вишь, спас — не пропали. Мать-то твоя школу отличницей кончила да потом еще на журналистку в институте выучилась. Одна она тогда среди парней была во всей группе-то...

Бабушка доставала из ящика старинного, уцелевшего еще с тех, верненских, времен буфета ветхий ридикюль с поломанным замком, где хранились разные семейные реликвии, и раскладывала фотографии. Некоторые сделаны были еще до революции. Они были на клеены на твердый белый картон, на обороте которого золотым тиснением значилось: «Фотографія т-ва...» И с них смотрели молодой элегантный мужчина в галстуке-бабочке с короткой — ежиком — стрижкой, очень похожий на Кириллову мать, и бабушка с поразительно молодым, гладким лицом, лишь отдаленно напоминавшим теперешнее, изборожденное морщинами. Были фотографии и других, поздних лет. на них — такая же молоденькая мать — студентка КИЖа — так называлася тогда Коммунистический институт журналистики. Тут же хранилась и маленькая красная книжечка — удостоверение

корреспондента «Пионерской правды» — первое служебное удостоверение матери. Выдано оно было в год рождения Кирилла.

Теперь бабушки нет на свете — померла, не дождавшись второго правнука. Уже после попала Кириллу на глаза одна книга, где неожиданно для себя встретил он и своего деда. Под чуть измененной фамилией его упомянул в пухлой энциклопедии один прозаик, выпустивший недавно очередной том своего собрания сочинений, — об этом сообщила городская газета, предложившая подписчикам выкупить упомянутый том паряду с творениями Бальзака, Диккенса и Льва Толстого. Книга разочаровала Кирилла. Обидно стало: дед погиб при исполнении, на боевом посту, а сказано про него походя, вялыми, бесцветными словами...

А бабушка получала за деда жалкую пенсию, на которую, оставаясь одипокой, неизвестно как смогла бы существовать. С дочеринной зарплатой и то едва хватало на прожитье. А в тесной квартирке только и было приличных вещей, что тот самый громоздкий стариинный буфет да зингеровская швейная машинка производства начала века, на которой бабушка бесконечно что-то шила и непрерывала. На Кирилле все — от трусов и рубашек до зимнего пальтишка и даже каракулевой папахи, переделанной из старой материиной муфты, — наряд этот, правда, он не любил, потому что мальчишки стали обзывать генералом — все было изготовлено бабушкиными руками. Магазинный костюм впервые купили Кириллу лишь незадолго перед окончанием школы.

Иной раз Кирилл спрашивал бабушку, почему не хлопотала, чтобы увеличили пенсию, но вместо ответа она лишь махала рукой. И он со временем понял: в этом тоже проявился гордый бабушкин характер. Обиивать пороги, хлопотать, доказывать, напоминать о своих заслугах — это было не по ней. Да и что докажешь? Наград у деда особых не было, званий тоже, их тогда не присваивали. Так и получала свои сто восемьдесят пять рублей, перешедшие, незадолго до смерти, после денежной реформы в восемнадцать с полтиной...

Помимо прозаика, о деде — тоже после бабушкиной кончины — вспомнили еще активисты, создавшие в городе музей не то истории медицины, не то — здравоохранения, не то — того и другого вместе. Каким-то образом они напали на след, заявились к бабе Лене и стали христом-богом просить передать им хотя бы одну из

фотографий ее «знаменитого отца». Под музей отвели нижний этаж отреставрированного дома, в котором жил когда-то не менее знаменитый верненский доктор Каменицкий. Этот большой, в два этажа, красивый кирпичный дом так и называли в городе — дом Каменицкого. В детстве баба Лена бывала вместе с родителями в гостях у доктора Каменицкого, который был большим оригиналом. Правда, из его странностей Кирилл слышал только о том, что за едой он тщательно, до блеска, вылизывал свою посуду и строжайшим образом запрещал домашним мыть ее. Историю эту бабушка рассказывала несчетное число раз, не в назидание, а просто вспоминая давно минувшее, и Кирилл не мог слушать ее без улыбки.

Как ни жаль было расставаться бабе Лене с семейной реликвией, из почтения к дому Каменицкого она все же отобрала для настырных просителей снимок, запечатлевший отца среди участников первого областного съезда врачей. Активисты восторгались, горячо благодарили, обещали выставить фото на самом почетном месте. Кто знает, сдержали ли они свое слово? Кириллу все недосуг было заглянуть в музей, и он корил себя за это...

Да что говорить о заштатном музеишке, если и в большой, что в старинном соборе с золочеными куполами, годами никак не выпадало пути. Собор этот в центре городского парка Кирилл видел еще мальчишкой — ходил туда на экскурсию с классом. А своих сыновей удалось сводить единственный раз, да и то в праздник, когда и в парке, и в музее было — не протолкнуться. Людская волна внесла их в собор по каменным ступеням, и они, держась за руки, чтобы не потеряться, устремились вместе с нею. В нижнем, круглом, зале па ходу скользнули взглядом по расставленным тут и там чучелам медведей, сайгаков, диких кабанов и других представителей горно-степной фауны, по опорному — с обеденный стол — срезу реликтового дуба, затем узкой винтовой лестницей, патужно скрипевшей под непривычной тяжестью, поднялись наверх, в тесноту маленьких, склоненных комнатушек, заставленных реликвиями более близких времен.

Пробираясь по запутанной анфиладе комнат, Кирилл вдруг наткнулся на фотопортрет того самого прозапека, в упор смотревший с застекленной витрины на входящих, а рядом с портретом увидел его эпопею, автоматическую ручку, коей, как поясняла табличка, она была

написана, а также расположенные веером несколько мандатов, грамот и удостоверений. Собрания сочинений не было: видно, прозаик дождался выхода завершающего тома, чтобы выставить все сполна. Другие литераторы были представлены беднее — книжками да снимками. А иных — так будто вообще в природе не существовало. Кирилл возмутился было, решил завтра же сообщить в Министерство культуры (оно находилось в квартале от музея), но, вспомнив поговорку — «все врут календари», постыл. В конце концов, кому это нужно — грамоты, удостоверения, мандаты? Один только мандат у писателя — книги. Иным — жить, иным — кануть в Лету, как хитроумно ни консервируй их под стеклом музейных витрин...

Опыта переездов у Кирилла не было, и ему ничего не оставалось, как суетиться вместе со всеми, выполняя, хотя и не без внутреннего протеста, многочисленные пустые тещины распоряжения.

Новая квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома оказалась вдвое просторнее прежней. Все чин-чином: никаких проходных комнат, и балкон есть, и даже лоджия. Правда, в горячке переезда никогда было особенно разглядывать жилье: до самого темна таскались туда-сюда по лестнице, пока не занесли со двора весь скарб, не переставая удивляться, откуда только могла набраться этакая уйма всякого баракла.

Уже поздним вечером, когда вконец измочаленные Кирилл с Верой остались одни (теща с детьми уехала к своей сестрице — Веронике тетке в Рабочий поселок), они обнаружили, что в расчудесных апартаментах стоит собачий холод, батареи не дышат, а в комнате с лоджией немилосердно дует из-под двери. Спасти можно было только в кухне, что они и сделали: включили электроплитку, втынули кое-как раскладушки, набросали на них все подвернувшееся под руку и наглоухо затворили дверь.

Кирилл долго не мог уснуть. Он то закрывал глаза, то от ничего делать глядел на оранжевый круг раскаленной спирали, тускло отсвеченный кафелем, и припоминал, как давно, студентом, работал на каникулах в целинном совхозе. Жили посреди неоглядной степи, в сарае, где было только три стены, и вот так же согревались по ночам огнем костра, который разводили рядом, на плотно утоптанном земляном полу.

...С полмесяца обитали Шумиловы на кухне. После

работы и в выходные дни хлопотали в поте лица, устраивая, как могли, оставленные строителями огрехи. Постепенно задраили в дверях и окнах щели, разобрались со скарбом, и комнаты стали приобретать какой-шкакой вид. Тут ослаб и мороз, а батареи чуть ожили, и в квартире стало вполне терпимо. Правда, по-прежнему не было газа, и готовила Вера на электроплитке, но все это были мелочи. Кирилл шутил, дескать, мудро все-таки устроена жизнь: оберегает от избытка положительных эмоций. Не зря, стало быть, сдают дома с недоделками: пусть новосел получше вживется в роль, помыкается, тогда и жилье ему новое дороже станет, и сердце не пострадает от чрезмерной радости...

Объявились, паконец, и теща с Мишней и Аркадием, и жизнь стала входить в обычную колею. Не уставая восторгаться квартирой, теща — Кирилл купил ей уже билет на самолет — предложила внести корректировки в обстановку. По ее мнению, красный ковер, который Кирилл с Верой пока не повесили — им вдвоем это было не под силу, и они дожидались помощи Аркадия, — неизменно должен был украсить собою стену в большой комнате — «зале», как она ее называла. Новоселы же наметили определить его в спальню, но, боясь накапуне отъезда обидеть тещу, Кирилл, взгромоздясь на раздвижной обеденный стол, с превеликим трудом вбил в стену гвозди, и вместе с Аркадием, пыхтя, нацепили они тяжеленный ковер за петли, загодя пришитые Верой.

На другой день теща отбыла восвояси довольная, с сознанием добросовестно выполненного долга, и не менее довольные хозяева тоже с чистой совестью переместили ковер туда, куда им хотелось.

В дом Шумиловых въехали одними из первых и удивлялись царящей вокруг тишине. И еще тому, что из о: он было видно небо, много неба. Ничто, как на старом месте, не загораживало его, и от этого на душе становилось хорошо — радостно и в то же время почему-то немного печально.

Межу тем лом заполнялся жильцами. Сверху, сбоку и снизу стали тоноситься топот, детский плач, скрежет передвигаемой мебели, удары молотков, загоняющих гвозди в упорно сопротивлявшиеся стены. В выходные дни допоздна то тут, то там плясали, орали песни — праздновали новоселье. Словом, все шло, как говорится, по законам жанра.

И вдруг... Проснулись среди ночи от грохота, звука

стекла, возни и криков на верхнем, нависающем над спальней балконе. Кирилл подскочил к окну и опешил: в морозном воздухе, слабо освещенные луной, беспомощно болтались лишевые опоры женские ноги. Он побежал в кухню, распахнул окно и заорал:

— Эй, что вы там делаете?! Сейчас милицию вызову!

Шумиловы уже знали про необузданый нрав верхней, закаленной в жарких схватках семейной пары, выяснявшей отношения по-простому, без всякой дипломатии — кончалось это обычно громким, на весь подъезд, вытьем на площадке потерпевшей поражение супруги. Но чтобы вот так — сбрасывать благоверную с пятого этажа!

В ответ на гневный окрик Кирилла сверху послышалось пыхтенье: верхний Отелло, решивший столь оригинальным способом припугнуть свою провинившуюся Дездемону, опомнившись, стал втаскивать ее через перила обратно, но, видимо, в единоборстве порядке устал. Болтающиеся вверху, далеко не изящные ноги продолжали некоторое время маячить на том же месте, и Кирилл хотел было закричать снова, но подбежавшая Вера закрыла ему рот ладонью:

-- Не надо. А то еще сбросит с переногу!

Пыхтенье между тем усиливалось, ноги стали медленно подтягиваться к кромке балкона и, наконец, скрылись из глаз. Сквозь морозную мглу желтела в бледном ореоле безучастная ко всему в этом мире луна.

На следующий день Дездемона, наглоухо укутав голову платком, лишь глаза поблескивали сквозь узкую щелку, спустилась к Шумиловым якобы позвонить по телефону. Кирилл, открыв дверь, тут же ушел в кухню. Дездемона покрутила диск, но номер вроде бы оказался занят, и она стала ждать.

И тут открылось, зачем она в самом деле пожаловала.

— Мой-то,— сказала она Вере, приоткрывая щеку, где остался отпечаток Отеллова кулака,— приревновал меня вчера. В гостях вечером были, ну, там ему что-то не так показалось. Горячий он у меня,— добавила Дездемона не без одобрения.

— Ну, нас это не касается,— решительно отрезала Вера.— Только мы из-за вас почти всю ночь не спали и просим, чтобы больше таких безобразий не было.

Вот так и познакомились. Потом выяснилось, что

Отелло с Дездемоной жили не одни, а с целым выводком разновозрастных чад. Однако совместных детей у них не было: каждый изжал их от предыдущих браков или сожительств. Получилось по форме большое семейство, вот и отхватили под это дело трехкомнатную квартиру. А получив ее, тут же распихали выводок по интрапатам и ударились в загул. Благо, сил хоть отбавляй, весь день на свежем воздухе — состояли! Отелло с Дездемоной разворачивали при одном фешенебельном доме отдыха, — голова не перегружена, как у несчастных интеллигентов. Что еще надо — пей, гуляй, с работы, не бось, не попрут, обслуга-то вои как нужна, а попрут — эка беда: квартиру-то дали, теперь не отнимут. А переехали они в новый дом из барака возле горной речки, на задах большого фруктового сада, окружающего тот самый дом отдыха, при котором они состояли в работниках.

Сам дом отдыха был раньше небольшим, милым, по-домашнему уютным. Кирилл впервые попал сюда совсем еще мальцом и полюбил этот старый яблоневый сад, и тихие дорожки, и пританвшийся среди кленовых зарослей нежно журчащий ручей, и шаткий подвесной мостик через речку, и саму речку — шумливую, бурную, азартно иссущую по каменистому ложу вниз, к городу, своей кописто-хрустальный поток, рожденный в лесе покрытых снеговой шапкой поднебесных гор. Они приходили сюда, к мостику, с отцом, и тот, ухватившись за камни, с восторгом окунался в обжигающие холодом стремительные струи, а Кирилл, перебарывая страх, тоже плотился в воду и весь в алмазных брызгах тут же пустей выскакивал на берег.

Потом, много лет спустя Кирилл с Верой, молодые, не обремененные тогда семейством, забрели однажды на речку. День стоял еще по-летнему жаркий, солнечный, но все вокруг — желтеющие вдоль речки березы, ближние зеленые предгорья и вознесшиеся вдали над ними островорхие снежные пики — было подернуто едва уловимой бледно-сиреневой дымкой, от которой почему-то всегда чуть тревожно и грустно становится на душу. Но в этот раз элегическое настроение не успело овладеть ими: они вдруг увидели нечто необычайное. Ниже мостики речку перегораживали огромные валуны, с которых быстрый прозрачный поток извергался маленьким, но бурным, кипящим водопадом. И вот здесь, над его вспесневшим гребнем, то и дело ослепительно вспыхивали и

сразу же гасли серебряные искорки. Они подошли вплотную к воде, но никак не могли сообразить, что это за искры. И тут Вера крикнула:

— Ой, Кириушка,— форель!

Кирилл, сбросив ботинки, встал на плоский, как стол, камень, сложил ладони ковшком и склонился к пепельному гребню, откуда то и дело высакивали тонкие серебристые рыбки. Несколько раз они скользкими льдинками чиркали по рукам, одна даже на мгновение очутилась в ладонях. Поразило это неудержимое устремление форели к верховым рекам, несмотря на быстрое течение и такие вот бурлящие пороги...

Правда, после этого Шумиловы никогда больше сребристых рыбок не видели. Должно быть, и горная речка испытала на себе то, что по-ученому называется загрязнением окружающей среды, хотя вода ее по осени оставалась по-прежнему студеной и прозрачной. И березы, старые, с темными бугристыми наростами на когда-то гладких стволах, все так же безропотно роняли в воду желтые листья, будто плакали светлыми слезами неизвестно о чем или о ком...

Шаткий деревянный мостик исчез. На его месте возвели капитальный, бетонный, с массивными чугунными решетками, такой широкий, что на нем свободно могли бы разъехаться два самых мощных грузовика. А там, где был старый фруктовый сад, протянулись ровными, как на кладбище, рядами аккуратные бетонные столбики.

Одновременно со старым мостиком и садом исчез и тот самый барак, а всем его обитателям суждено было снова очутиться под одной крышей, только теперь на виду у города, на проспекте, в солидном, отделанном розовым ракушечником доме, куда, вместе с неведомыми им до поры до времени новоселами, въехали и Шумиловы.

Ближайшими соседями по площадке оказались молодая бездетная чета барачных переселенцев и пожилая пара — редактор ведомственного журнала со своей дородной и на вид строгой неработающей супругой. Переселенцы же были — Паша, как выяснилось, мастер на все руки, хотя на правой у него осталось лишь четыре пальца, и жена его Хельга — довольно странная особа — то слишком задумчивая, то неизвестно чему улыбающаяся. Работали они в том же доме отдыха, он — по строительной части, она — весовщицей на складе. Паша

в душе был художник и все свободное время тратил на бесконечное переоборудование и украшение их маленькой квартиры, не оставив в ней, несмотря на ворчание Хельги, что называется, живого места. Потолок и тот выложил хозяин узорчатыми лепными плитками, какие идут обычно на оформление больших, парадных залов. И хотя в комнате они не смотрелись, делали потолок приземистым, Паша был доволен. А руки его просили новой работы, и Паша как-то вечерком зашел к Шумиловым под тем же, что и верхняя Дездемона, предлогом — позвонить. Потом посидели на кухне, попили чаю. Вот тут и поведал Паша историю буйных верхних соседушек, с коими, оказалось, дверь в дверь жили они с Хельгой в том бараке на задах фруктового сада.

— Мы их там всем бараком разнимали, — рассказывал он, и в голосе его не слышалось осуждающих ноток. — Как напытятся да раздерутся, одно только помогало: того да другого — в речку.

— Как, в речку? — изумился Кирилл с Верой.

— А так: схватим их за руки, за ноги — и в воду. Горячие обашибко: шинят аж в воде, как раскаленные уголья, пока не охолонут. Шибко горячие, — еще раз не без одобрения подтвердил Паша. — А что он ее с балкона чуть не скинул — небось, забыл по пьянке-то про пятый этаж, хотел просто как обычно за дверь ее на улицу вышвырнуть.

«Ничего себе, послал бог соседушек, — с унынием подумали Шумиловы, выслушав благодушный Пашин комментарий. — Жди теперь от них всяких пакостей».

— Так надо было в таком разе пониже бы, что ли, квартиру им дать, — сказала Вера.

— Не-е, пониже только шишкарям дают, — со зланием дела пояснил Паша. — Им вредно по лестнице высоко подыматься.

— Интересно, — протянул Кирилл, дивясь осведомленности соседа. А гость с воодушевлением продолжал:

— Возьмем наш подъезд. На втором этаже кто? Шишкарь, конечно, толстый такой, с лысиной, на «Волге» ездит, начальник какого-то там главка. А на третьем, прямо под вами, — аж сам генерал, а прямо против генерала — тихая такая с виду, так она — сестрой-хозяйкой в рызиденции.

— Где, где? — не рассыпал Кирилл.

— Ну, в рызиденции: дом такой большой в горах стоит за железными воротами, может, видали когда.

Немного выше по дороге от нашего домотьха. Там сидит милиционер в будке сидит.

— А-а! — Кирилл закивал головой, хотя и не знал, о чем речь.

— А в соседнем подъезде на третьем этаже Нюра квартиру получила, буфетчица, тоже из нашего барака. Других я там пока никого не знаю, — признался Паша.

— Выходит, не одним начальникам вредно выходить подниматься, буфетчице — тоже? — слукавил Кирилл.

— А как же, вот какие сумки каждый день с работы тасчит, — засмеялся Паша.

Тут он вспомнил, наконец, зачем пришел, по-хозяйски оглядел кухню и вызвался сделать в окне форточку.

— Я себе уже сделал, теперь хорошо, а так — всю створку открывать надо. Хельга теперь довольна, — сказал он специально для Веры, боясь, как бы та не стала возражать. Но она обрадовалась: в самом деле, без форточки в кухне было неудобно.

Паша обещал прийти завтра же; тут позвонила в дверь Хельга, стала с порога укорять мужа:

— Все бы ему только мастерить да по гостям шататься.

Вера все же зазвала Хельгу на чашку чая, а Кирилл тем временем достал с полки отцовский роман, хотел надписать что-нибудь проинновенное, но, не придумав ничего особенного, черкнул: «Дорогим соседям — на добрую память».

Павел был в восторге, бросился обнимать Кирилла, шепнув на ухо, что надо бы обмыть это дело — у него, мол, дома есть чем, а Хельга, видимо, заметив это, потянула муженька за рукав:

— Ну, хватит, небось, не павек прощаетесь.

Потом она вдруг мечтательно закатила глаза и склонила, обращаясь к Вере:

— Знаете, я так люблю почтать что-нибудь такое... ну, чтобы забыться, — чувствительное такое, про любовь...

— Пожалуйста, вот, Хельга, смотри, — предложила Вера, подведя ее к книжному шкафу.

Гостья выбрала два солидных тома — в ледериновом переплете — избранное Стефана Цвейга, давнишнее, но хорошо сохранившееся издание, заглянула в оглавление и застыбалась:

— О, какие названия! «Улица в лунном свете»... «Двадцать четыре часа из жизни женщины»...

На другой день Паша и в самом деле зашел вечером после работы и часа за два врезал в раму форточку, да так накуско, будто она была там сроду.

Насчет же кинг предчувствие Кирилла не обмануло: вернула их соседка дней через десять покоробленными, с вздувшимися обложками и с коричнево-желтыми потеками на срезе.

— Это все Пашка,— пояснила она, перехватив изумленный Верии взгляд.— Чайник горячий додумался поставить. Совсем чокнулся со своим ремонтом.

Тогда же довелось Кириллу познакомиться и с инженер генеральшей. А все началось с небольшого конфликта. Накануне вечером Вера возилась, как обычно, по хозяйству, перебирала на кухне банки и узелки с крупой, а потом, приткнув балконную дверь, слегка стряхнула освободившийся из-под муки самодельный ситцевый мешочек. И кто бы мог подумать, какие последствия повлечет за собой еле невинное действие!

На другое утро, когда Вера ушла на работу, а Кирилл остался дома,— случалось это очень редко, раз или два в год, если выпадали почные дежурства,— в дверь позвонили. Глянул в глазок и с удивлением узнал генеральшу в длинном, до пят, халате на манер кимоно. Кирилл поздоровался и пригласил войти, но она лишь презрительно скривила губы:

— Ну-нет, мне заходить незачем, я тут скажу.

И — понесла с места в карьер, перекашивая огненное маленько личико:

— Это что же получается? Вы мне все белье запачкали! Вчера выхожу вечером на балкон — боже: все в пыли, я прямо чуть не заплакала! У меня тут простыни, паволочки накрахмаленные, а вы половники грязные трястете!

Кирилл слушал эту тираду, весь внутренне засипая, и, дождавшись паузы, стараясь не сбиться на грубость, ответил, что, во-первых, половников у них нет, а ковры они всегда выбивают во дворе. И показал для наглядности тот самый ситцевый мешочек, который стряхнула Вера.

— Ну, не знаю,— по-прежнему злобно парировала генеральша.— Пыли все равно было много.

И эта ее твердолобость взвесила Кирилла.

— Знаете,— сказал он негромким, прерывистым от первого напряжения голосом,— вам еще повезло, что над вами мы живем, а не наши верхние соседи.

Резон, видимо, подействовал, генеральша не могла не слышать про местных Отелло с Дездемоной, однако гордость не позволила ей смягчить тон, она снова поджала губы и, не прощаясь, шагнула от двери, подчеркивая тем самым, что осталась при своем.

«Черт возьми, сама-то коврика сроду не выбьет, хотя дома все время торчит, а еще туда же, с начетом!»— выругался Кирилл, захлопнув дверь.

И вообще, его с первых дней раздражало чванливое это семейство. Начать с того, что из-за них было у подъезда ни пройти, ни проехать: тут с утра до вечера дежурили то попеременно, а то и вместе две генеральские машины. Останавливались они прямо у ступенек, чтобы генерал, не дай бог, не сделал лишнего шага, а рядовым жильцам приходилось кое-как, бочком протискиваться в узенькие просветы. Кто-то, наверное, не выдержал — сказал пару слов солдатам-шоферам, и машины стали дежурить подальше, на асфальтированной площадке, по соседству с мусорными ящиками. Когда нужно, генерал зычно гаркал с балкона: «Водитель!», — и автомобиль тут же подкатывал к подъезду.

Кирилла поражало это безличное обращение. Ну, ладно, субординация, но ведь парень-то каждый день его возит, а хозяин даже по имени назвать не хочет. Несужети солдат уважать перестает, обращайся с ним по-человечески?

Утрами «Волга» увозила генерала на службу, а в распоряжении супруги оставался падраенный до блеска «газик». На нем она ездила за покупками, — солдат то и дело таскал в квартиру увесистые свертки и коробки. Он же доставлял провизию: Кирилл и Вера почти ежедневно встречали его по утрам с бутылками молока и кефира.

На равных с генеральшей распоряжалась «газиком» и ее здоровая краснощекая дочка, из тех, о ком в народе говорят — на ней бы воду возить. Но она предпочитала «возить воду» на других, а потому вышла за молодецкого офицерика, родила такого же краснощекого пациента и посчитала свой долг перед обществом выполненным. Первые месяцы после переезда жила она в родительском гнезде, а муж, стройный лейтенант с щегольскими усиками, объявлялся тут лишь от случая к случаю. В свободное от поездок по магазинам и ателье время генеральша опекала впуха, а молодуха — выгуливала во дворе холеного черного пуделя. Вскоре

молодожены переехали в собственную квартиру, оставив генеральша, чтобы скрасить ее суровые будни, и чадо, и пуделя.

Генеральша ходила за своим обожаемым внуком по пятам, не отпуская его ни на шаг. С утра до вечера доносился со двора ее резкий, въедливый голос:

— Леня, вернись немедленно! Леня, не лезь в лужу! Брось эту пакость! Не играй с этим мальчиком, он грязный! Кому я говорю? Сейчас же иди домой!

И Леня, белокурый, выкормленный, верткий дьяволенок, которому до смерти успела надоест неотступная генеральшина опека, при всем честном народе громко изрекал:

— Сама иди, дура!

Генеральша, услышав знакомую сакраментальную фразу, прикладывала к губам палец, и маленький гробиня не получал за свою дерзость хотя бы легкого шлепка. Наоборот, бабка гладила его по головке и вскоре опять принималась оглашать двор своими бесконечными запретительными возгласами.

Вику дозволялось командовать генеральшей, как только хотелось. Стоило ей подняться зачем-либо домой, как он начинал кричать в окна, прося то одно, то другое.

Однажды потребовал:

— Кинь мячик!

— А где он? — спросила генеральша с балкона.

— В рогатой комнате!

Вера, услышав, расхохоталась:

— Это у них одна комната вся рогами увешена, ну, там всяких горных козлов, архаров да сайгаков.

— А ты откуда знаешь? — удивился Кирилл.

— Так генеральша не стерпела, меня как-то к себе зазвала. У нее ведь вся квартира гарнитурами забита — повернуться негде. В кухне — и то каких-то полок да шкафчиков по стенам понавешено. Только в рогатой комнате мебели меньше, чтобы рога было лучше видно.

— А откуда эти рога?

— Опа хвасталась — все сам, мол, генерал на охоте настрелял. У них этих рогов столько — и в прихожей висят, и даже в лоджии. А всякого хрустя кругом понавислено! Зато, представляешь, во всей квартире — ни одной книги!

— Да ну?

— Ей-богу! Мне самой тоже дико показалось. Даже

у Павла с Хельгой — и то несколько штук найдется.

— А на что им книги? Устав генерал давно, небось, наизусть выучил. А генеральша, наверное, мультики с внуком по телевизору смотрит...

— Нет, ну как же все-таки можно в наше время — чтобы совсем без книг? — кипятилась Вера.

— Отелло же, поди, с Дездемоной обходятся.

— Ну, с тех-то какой спрос? А тут... просто уму не-постижимо!

— А читать-то им когда? — продолжал Кирилл поддразнивать Веру. — У него ведь служба, да еще охота, да рыбалка, а ей уже где там — и вовсе недосуг.

В самом деле, когда генерал возвращался домой с очередного выезда на природу, хозяйка трудилась в поте лица. На балконе раскладывались для проветривания роскошные охотничьи трофеи — большие и малые птицы с оперением, отливающим всеми цветами радуги. Кирилл видел их разве что на иллюстрациях к Бремовскому «Миру животных».

Потом в открытые окна начинало тянуть паленым: то генеральша обрабатывала добычу, и несколько дней, до следующей охоты, явственно доносились снизу кулинарные ароматы, вызывающие у Кирилла ностальгические воспоминания о детстве, о маленьких, как голуби, но необыкновенно вкусных куликах и чирках, которых было тогда видимо-невидимо на заросших кугоей, камышом и чаканом тихих степных озерах, где отец стрелял их мастерски влет, выставив двустволку из окна машины...

Но, как оказалось, были и у генеральши свои треволения. Обнаружилось это в одну из душных субботних ночей, когда Кирилл с Верой допоздна засиделись на балконе, дожинаясь хотя бы мало-мальской прохлады после дневного пекла, и тихо болтали о том о сем, глядя на черное, усеянное звездами небо. В жару люди обычно давно ложатся спать, но уже погасли окна в соседних домах, все вокруг смолкли, лишь доносились откуда-то издали трели лягушек да певческие свистенья кузичиков. И в этой тишине послышался снизу песенный поначалу разговор. Но звуки тут же усилились — видно, кто-то открыл окно, — и Шумиловы сразу же узнали генеральшу. Своим раздраженным, взглывшим, особенно неприятным в этот поздний ночной час голосом она с пристрастием допрашивала:

— Признавайся, для чего ты открывал этот ящик?

— Не открывал я, мама, честно вам говорю,— оправдывался кто-то.

— Ха, рассказывай кому-нибудь другому! Уж у меня все замечено, где что лежит!

— Да зачем мне это нужно, мама?

— Вот я и спрашиваю, зачем. Небось, поглазеть решил на наше добро. Так знай, оно нами нажито, а не тобой, и нечего зенки на что не надо плятить!

— Кого это она? — сказал Кирилл.

— Зятя своего, лейтенантика, распекает,— определила Вера.

— А почему же он говорит — мама?

— Ну, так, наверное, у них заведено. Моя ведь мачтушка, помнишь, тоже хотела, чтобы ты ее мамой звал. У нас в деревне, когда женятся, только так и бывает.

— Запомни раз и навсегда: твоего в этом доме нет ничего. И чтобы не смел по шкафам шарить! — не унималась генеральша. — Подумаешь, ребенка родил! А чему хорошему он от тебя научится? Ты еще сам-то ничего пока не нажил!

Кирилл, представив себя на месте лейтенанта, вскинул:

— Да как же можно терпеть такое?

Он ожидал, что зять, наконец, не выдержит, даст достойный отпор настырной теще, но с изумлением услышал, как тот промямлил:

— Мама, не сердитесь, пожалуйста, вы же знаете, что я вас очень люблю и уважаю.

— Ничего-о себе, — протянул Кирилл.

— А куда ему деваться-то? — рассудила Вера. — Он же за спиной у генерала, как у бога за пазухой. И звездочки свои благодаря тестю наверняка досрочно получили.

— Так что же теперь, все — сносить?

— Ну, знаешь, не зря ведь говорится — брань на вороту не виснет.

— А что же экипаж-то, хотя бы она за него заступилась.

Между тем голоса внизу смолкли, генеральша, утомившись, отстала, наконец, от бессловесного зятя, и только лягушки да кузнечики продолжали свое бдение, странным образом не нарушая, а наоборот подчеркивая тишину душной июльской ночи...

Сцена, невольными свидетелями которой они оказались, произвела на Кирилла гнетущее впечатление. Он

долго не мог успеть, раздумывая о странностях, которые ми полна жизнь.

На следующий день, в воскресенье, генеральша из обыкновению пасла во дворе свое испугливое чадо, а пышная дочка с опозоренным муженком как-то в чем-то бывало отправлялись выгуливать пуделя...

В далекой уже теперь молодости Кирилл был учителем литературы в захолустной школе за старым городским парком, где на узеньких немощенных улицах, с незатейливыми названиями — Кривая, Косая, Овражная — скрывались в густых фруктовых садах невеликие частные домишко. До парка Кирилл добирался автобусом, потом спускался по недлинной, но довольно широкой улице. Вера работала в той же школе пионервожатой, ездила с двумя пересадками тоже издалека — из Рабочего поселка. Не успели, правда, толком познакомиться, как она почему-то перешла в другую школу. Два года томился Кирилл, вспоминая Верину застенчивую улыбку и протяжный, акающий воронежский говор, и однажды, в сентябре, когда только что начались занятия, направился в поселок, где до того никогда не бывал. Запомнился полетнему еще жаркий, солнечный день, ряды стройных тополей с сухими, запыленными листьями вдоль главной улицы, узкий и кривой проулок Рубинштейна, как и соседние неказистые улочки, в большинстве своем носящие имена артистов, художников и композиторов, застроенный стандартными одноэтажными домами на два хозяина, с одинаковой величины палисадниками, огороженными где крашеным, а где — просто серым штакетником.

Тогда впервые увидел Кирилл за решетчатой зеленою калиткой невысокое, в три ступени крыльцо, затянутое старой разлапистой яблоней и густыми кустами сирени, но так и не решился войти. А через неделю, подчинившись неодолимому зову, онъять оказался в тихом проулке. Веры он в тот раз не застал, зато познакомился с ее дядей и теткой, у которых она жила, приехав из России, из затерянной в равнинных воронежских просторах деревушки Ручьевки, где родилась и выросла, в дальний город у подножия впервые в жизни увиденных заснеженных гор. Сюда зазвала ее в письмах родная бездетная тетка, бывшая учительница. Прежде временно выйдя на пенсию, она занималась однообразными мелочными хлопотами по хозяйству да созерцанием великого множества фарфоровых статуэток — балерин,

лошадок, кошечек и собачек — вплотную наставленных на сумрачном, вросшем в пол шиншило «Ростов-Дон», на шкафу, серванте, телевизоре и секретере, забытом толстенными дядюшками словарями и сиравочниками по геодезии. Ничто, кроме этой самой геодезии, в жизни его не занимало. Когда-то давно он защитил кандидатскую и с тех пор все свободное от института время (там он заведовал кафедрой) корпел над докторской.

По воскресеньям и на праздники в поселок любили наезжать гости, одни и те же — несколько пожилых супружеских пар. В хорошую погоду в тесном садике мужчины сражались в переносной биллиард, звонко стучали маленькими металлическими шарами, а жены развлекали друг друга разговорами, темы же быстро исчерпывались, и от чего делать они принимались лениво комментировать биллиардную игру. Но тут обычно раздавался желанный приглашающий тетушkin клич, партия незамедлительно и без всякого сожаления прерывалась, все поспешили мысл возле крыльца руки, поливая друг другу теплой, нагретой солнцем водой из корыта, которую дядюшка всегда загодя напакивал насосом (водопровода тогда еще у них не было), и, не без вожделения оглядывая ароматные закуски, рассаживались всякий свое привычное, раз и навсегда закрепленное место.

С некоторых пор таковое появилось и у Кирилла — то правую руку от сидящего во главе стола угрюмового дядюшки. Тетушка, распаренная, в несвежем фартуке («С грязного не треснешь, с чистого не воскреснешь»), подносила из кухни все новые блюда, которые приходилось с трудом втискивать между уже расставленными, сидявшими, паконец, сама и командовала:

— Ну, Женя, чего же ты, наливай!

Все сразу приходило в движение. Мелькали массивные, потемневшие от времени серебряные ложки и вилки, разбирались по тарелкам салаты, соленья и маринады. Дядюшка разливал из большого хрустального графина по хрустальным же рюмкам настоящую на лицоных корочках водку, которую все предпочитали копьяку и сухому вину, и бутылки, выставленные для обозрения, перекочевывали к статуэткам на шиншило.

— Ну, давайте, товарищи, с праздничком! — возглашал дядюшка, чокаясь с Кириллом и сидевшей по другую руку престарелой, но энергичной дамой с живыми, быстрыми глазами.

Выпивали по первой, закусывали.

Рюмки наполнялись снова, опять чокались, но в этот момент Вера под столом наступала Кириллу на ногу, подкрепляя безмолвный приказ выразительным взглядом, и тому попеволе приходилось отставлять петропитскую рюмку, стараясь при этом не выказать своих явно не положительных эмоций.

— Кирюша, а ты чего же? — заметив непорядок, громко спрашивалась тетушка, на что Вера, опередив его, с пажимом говорила:

— Ма, ну зачем заставлять, если человек не хочет?

Между тем за столом становилось довольно шумно, разгорался сумбурный разговор, говорили разом, все больше распаляясь. В общем нестройном гуле выделялся сильный и звонкий голос Кирилловой визави Ольги Александровны, той самой престарелой дамы с живыми глазами (оказывается, ей было тогда уже далеко за семьдесят). Во всех подробностях, с упоением описывала она виденный накануне глубокой ночью по телевизору международный футбольный матч, без запинки называя по фамилиям чуть ли не каждого из игроков. Страстная болельщица, Ольга Александровна не пропускала ни одной спортивной передачи и теперь торжествовала, что ни у кого из мужчин, тоже знающих толк в футболе, не хватило, однако, терпения дождаться ночного репортажа.

— О, доложу я вам, это был футбол, — перекрывала она всеобщий гомон. — Какая красота, смелость, блеск! Посмотрели бы вы на Жанрэнь! А этот Гарричча — я прямо влюбилась в него! Нет, граждане, как ни говорят, вы многое потеряли!

Сосел справа — тщедушный мужичок, специалист по куринным болезням, попытчики косясь на Кирилла, рассказывал какой-то длинный анекдот, скаля в улыбке желтые, прокуренные зубы: «Ну-ка, говорят, ответь, какие Пушкин книги написал?». — «О, много! «Медный задник», «Капитанская бочка», «Бахчисарайская канализация»...

Кирилл, делая вид, что слушает, кивал и притворно похояхтывал.

Между тем распаренный, побагровевший дядюшка разливал еще и, высоко подняв рюмку, комично прищутив глаза, призывал:

— Давайте, товарищи, выпьем теперь за здоровье министра пищевой промышленности!

В этот момент в дверях появлялась тетушка с корон-

ным блютом — жареным гусем с картошкой и яблоками, укоризненно качая головой, говорила:

— Ну, дед-то наш — того уже, что ли?

— А как же, деточка, — оправдывался тот, — без министра-то: разве бы мы сейчас пировали?

На короткое время гомон утихал — слышалось только аппетитное чмоканье да хруст обгладываемых косточек. Потом — еще раз наполнялись и опрокидывались рюмки, и дядюшка, вдруг распрямившись и смешно вытянув губы, запевал:

Ехал из ярмарки ухарь-купец...

Гости тотчас азартно подхватывали:

Ухарь-купец, удалой молодец!

Дальше слаженного пения не получалось — слов почти никто, кроме дядюшки, толком не знал, — но песня рвалась из души и с тем большим восторгом выпевалась-выкрикивалась хором знакомое, полное бесшабашной русской удали и веселого отчаяния:

Пей-пропивай, мы еще наживем!

Песенный энтузиазм, впрочем, быстро угасал.

Тетушка принималась убирать посуду, Вера помогала, взамен из серванта извлекался расписной чайный сервис с буколическими, нежных тонов рисунками, и пока стоят сервирировали к чаю, кое-кто выходил размяться во двор, другие, разморенные сытными яствами, оставались. Тут дядюшка переключался на международные темы. Дядюшка много лет подряд выписывал немецкие газеты (запыленные кипы их валялись в садовой беседке), ради тренировки в языке прочитывал все до последней строки и имел собственные суждения о различных острых проблемах.

— Э-э, не-ет, — говорил он, медленно водя указательным пальцем возле поса. — Заблуждаются те, кто думают, будто западные немцы...

— Господи, опять они про политику! — гулко шлепнув себя по бедрам, встревала тетушка. — Да ну ее к богоу, пропади она пропадом! Давайте-ка лучше чай пить.

В комнату, затененную разлапистой яблоней и оттого сумрачную даже в самый яркий полдень, сквозь потемневшие ветви едва пробивались розовые закатные лучи.

Все уже было съедено и выпито, обо всем переговорено, и гости оставались еще некоторое время за столом, дожидаясь, пока кто-нибудь из них первым скажет: «Ну, что же, спасибо этому дому, пойдем к другому. Пора, как говорится, и честь знать...»

Пока же эти слова не прозвучали, каждый раз происходило одно и то же. Тетушка глядела на кое-как перебарывающего дремоту дядюшку и жалобно, со слезою во взоре, вопрошала:

— Женя, ну почему ты на меня так смотришь? Не бось, думаешь, мол, вот, помру я скоро, и как же тогда тебе одному-то жить? Ничего, пайдешь себе взамен какую-нибудь помоложе...

— Оля, будет тебе! — обрывала ее не терпящая симпатий поклонница футбола.

Очиувшись от возгласа, дядюшка тяжело поднялся, осторожно, словно стирая пылинки, поглаживал пышное тетушкино плечо и привычно бормотал:

— Ну, ладно, деточка, ладно. Ну, не расстраивайся, деточка, успокойся...

Тетушка промокала глаза концом передника и спрашивала, не налить ли кому еще чаю. Желающих не оказывалось, и вот здесь-то кто-нибудь и начиндал благодарить за угощение, давая тем самым сигнал отбоя.

Хозяева провожали гостей до калитки, Вера с Кириллом оставались, убирали посуду, а дядюшка тут же ложился спать. Завтра начнутся будни: рабочий, еще затемно, завтрак в одиночку в давно не беленной кухне с неровным полом, накрытым драным линолеумом, с темными пятнами паутины по углам, с громоздким, как сейф, железным холодильником, подпертым для устойчивости сломанным топором. Тетушка паскоро разогреет на газовой плите оставшееся от вчерашнего застолья и тут же, охая, скажет: «Что-то я, Женя, сегодня не могу». «Ладно, деточка, ладно, ложись, я поsem». Потом он уедет до позднего вечера в свой институт, а тетушка, поднявшись чуть не к обеду, выпьет чай, разложит на бархатной скатерти с кистями пасьянс из разбухших, потрепанных карт. Потом зайдет какая-нибудь из соседок — простых, темных поселковских баб, давно разгадавших тетушкину слабинку. Примется тетушка, морщаась, постанывая, жаловаться на разные свои болочки, хвататься за сердце, за бок, они же станут изо всех сил сочувствовать: «Ах, Олечка, ах, бедная!»

И так — день за днем, год за годом... Они ни разу

никуда не выехал и из города, ни вместе, ни поодиночке. Дядюшка проводил свои длинные институтские отпуска дома, продолжал работать над докторской, возился в саду да ходил за поселок поплескаться в мелкой, по щиколотку, затерявшейся в траве речушке. А ведь ничто не сковывало их — ни семейные заботы, ни дети, ни финансы, — доцентское жалование позволяло хоть каждый год совершать кругосветные круизы. Но — какие уж там круизы! Как ни зазывала сестра тетушку в гости взглянуть на родную воронежскую землю, со старухой матерью, может, в последний раз повидаться, — все впластую: поехает, как же это, мол, я дом-то да Женю своего оставлю, — на том и конец.

Мать номерла на девяностом году — прислали из деревни фотокарточки. Верины родители перебрались из глубинки под Воронеж — на центральную усадьбу большого пригородного совхоза, стали жить почти по-городскому, с электричеством и даже телефоном, звали тетушку на новоселье — не дозвались.

Так оно и шло своим чередом, пока однажды, солнечным апрельским утром, не грянула беда: парализовало дядюшку. Еще накануне целый день он провел в институте, читал свои лекции, и вот — как гром среди ясного неба.

Тетушка в панике позвонила Шумиловым — дело было в субботу, — Вера отправилась на такси, но события раскручивались стремительно: приехала, а дядюшку увезли на «скорой» в больницу. Осталась соседка караулить дом. В комнатах — следы суматохи: смятые постели, на полу тетушки пуховый платок, таблетки, гузырьки из-под лекарств.

В больнице дядюшке с каждым часом становилось хуже, и — на третий день все было кончено.

Схоронили за поселком, в дальнем углу тогда еще почти незаселенного кладбища, которое называли Новым. Мимо этого кладбища дядюшка ходил иногда на свои одиночные прогулки, и вот, как говорилось в стариину, упокоился навеки. Поставили на могилке памятник от института — деревянную тумбу с жестянной пекрашеной звездой, сказали речи: поплакали, поголосили соседские старухи — их привезли на автобусе, какой Кирилл с Верой, ошелото мечась по перекрестку, чудом поймали за полчаса до выноса гроба, а не то, не дай бог, быто бы по соседям судов-пересудов. Жалели тетушку: ах ты, бедная, голубушка, да на кого же тебя

хозяин-то покинул, да как же тебе управляться теперь, одинокой вдове-то горемычной. Причитали, крестились, медленно осеняя скрюченными перстами свои темные, изборожденные морщинами, библейские лики, тихими словами поминали «новопреставленного раба божия Евгения, царствие ему небесное...»

…Двадцать лет прожили тесть с тещей в Ручьевке. Поначалу снимали угол в хатенке одинокой глухой бабки Мони на окраинной Кленской, а потом спрелили собственный ладный деревянный пятистенок.

Тремя окнами с резными наличниками глядел он на просторный, поросший конопотом выгон посреди села со старой, заброшенной ветряной мельницей без крыльев. Все было у них в подворье, как у людей: и сарайчик-пунька, и погреб, и курятник, и сад-огород немалый — с крыжовником, картошкой-морковкой, с грушей и зиаменитой, воспетой классиками российской антиповкой.

Надежда Савельевна учila ребятишек языку и словесности, а Иван Макарович в кооперации работал, каждый день куда-нибудь ездил, чаще всего — в город за товаром, возвращался поздно — только переночевать.

Так и шли год за годом, ничего существенно не меняя в жизни ручьевских обитателей. Не было особых событий и у Никодимовых. Только незаметно подросла Вера, школу-интернат в соседнем Лосеве окончила — в Ручьевке была только семилетка,— а тут тетушка стала в письмах к себе зазывать. Ну, и отправилась деревенская девчонка,ничего, кроме Лосева да Воронежа, не видевшая, черт знает куда — в далекий, неведомый край.

Приехала — понравилось: хотя и город, а дома почти как в Ручьевке: садик с спренью у окон, с разлапистыми яблонями и вишнями, и цветник, и даже кое-что из овощей посажено — помидоры, укроп, морковка.

Дядюшка, знаток немецкого, посоветовал поступить в иняз, взялся помочь к экзаменам готовиться, да только деревенское Веринно происхождение дало о себе знать: даже при дядюшкином содействии не смогла одолеть всех чужезычных премудростей и — не набрала нужного балла.

Оставалось одно — ждать следующих экзаменов. Но не быть же целый год баклушки. И устроилась Вера в окраинную школу пионервожатой. Вот так и сошлись их с Кириллом пути-дороги. Его, молоденького выпускника филфака, направили сюда не без помощи отца, ко-

нечно — тот звонил завгороду Баймендину — запомнилась почему-то Кириллу эта фамилия, — и, как любят писать газетные очеркисты, здесь он нашел свою судьбу. Чем его приворожила Вера — бог его знает, да и может ли потом человек хотя бы самому себе это объяснить? Но только увидел он ее — свеженьющую, белокурую, похожую в красном галстуке на школьницу и — лишился покоя. Говорок Верин необычный, акающий, казался ему прямо-таки волшебным, ангельским. Готовится к урокам, составляет план, а думы совсем о другом. Промаялся этак дней десять, и тут вдруг команда — старшим классам ехать на две недели за город убирать кукурузу. На педсовете Кирилл услышал, что поедет и Вера, и зарделся, безуспешно пытаясь скрыть волнение и краснея еще больше. Ему казалось, что всем вокруг, и прежде всего ей самой, ясно, в чем дело. И он с пылающими щеками съеживался, холодел от этой мысли.

Собирался Кирилл в какой-то радостной лихорадке. Воображение рисовало радужные картины: поле, простор, они с Верой работают на соседних участках, а вечером, на закате — дорога в село, учителя с учениками уходят вперед, а Вера отстает, и вот они наконец-то могут улыбнуться друг другу, сказать что-нибудь один, без свидетелей, чего никто кроме них не услышит... Правда, какие именно могли бы быть его слова, Кирилл не представлял, но это было неважно. Главное, что такая встреча рисовалась вполне возможной, не то что в школе, где на тебя каждую минуту пацелены десятки любопытствующих ребячих глаз, а в учительской балтольные взоры школьных ветеранов, настороженно встретивших невесту откуда взявшегося юного высокочку.

Как ни желал Кирилл заветной встречи, судьба распорядилась по-иному. По хорошему шоссе, идущему вдоль гор в столицу соседней республики, часа за полтора привезли их в пыльное, прокаленное солнцем село — центральную усадьбу овоще-молочного совхоза. После небольшой суматохи, выяснения с местными властями, что к чему, часть приехавших, и Веру с ними, оставили здесь, а остальным, и Кириллу тоже, пришлось отправиться дальше — на совхозное отделение. Потянулись однообразные дни: раний подъем, завтрак под старым, угрюмым карагачом — безвкусная мутноватая баланда в железных мисках с соломенной трухой — корчили их почему-то на кухне местного детсада, — потом душное, пропахшее пылью поле: высокие, сухо шурша-

шие кукурузные стебли с прогретыми солнцем дюжими початками, и не было этому молчаливому, придавленному недвижным зноем пространству ни конца ни края. Время здесь словно остановилось. Лишь безотрадное, блеское небо над пыльными стеблями да размытые жарким струящимся маревом очертания безучастных ко всему на свете гор вдали...

С недавно маялся Кирилл, а потом, под воскресенье, сказал своему коллеге, учителю литературы добреюшему Василию Михайловичу, будто непременно должен съездить в райцентр позвонить домой. Тот отпустил, и Кирилл, жертвуя перед подопечными учительским авторитетом, бросился через каменистое русло пересохшей горной речки к шоссе ловить попутную машину.

Вскоре притормозил рейсовый автобус, Кирилл сунул шоферу маленькую, только что пущенную в оборот после недавней реформы рублевку и через полчаса был уже у цели. Опять же бегом кинулся мимо совхозной конторы и почты в проулок, какой указали на остановке местные ребятишки. В конце проулка возле длинного барака, чья крыша слабо розовела под лучами закатного солнца, он увидел ужинающих за склонченными из неструганых досок столами парней и девчат. Веры среди них не было. Ничего не оставалось, кроме как выяснить, где ее найти, и Кирилл, сам по виду ничем не отличающийся от старшеклассников, покраснев и чувствуя, что делает глупость, спросил спящего с краю пареня. Тот неожиданно, перекрывая общий веселый гвалт и стуканье ложек о миски, возгласил:

— Братцы! Кто видел Веру Владимировну? Тут вот ее разыскивают.

Кирилл готов был провалиться сквозь землю. Ему чудилось, будто все насмешливо смотрят на него, догадываясь, в чем дело, и щеки его сделались и вовсе пурпурными. Правда, так же багрово пылали на закате и все остальные молодые, здоровые, загорелые лица.

— Она в красном уголке,— прозвенел на другом конце стола тонкий девичий голосок.— Там щас репетиция.

— Это вот там,— показал паренек в сторону барака, но Кирилл не решился приблизиться к нему и, съежившись под физически ощутимыми, колющими взглядами, не простившись, быстро пошел прочь.

Опять потянулись дни. Одно утешало — скоро до-

мой, и снова можно будет видеться, и это уже казалось счастьем.

В первый же день после возвращения из совхоза Кирилл ждал сюрприз. В учительской он заметил необычное оживление.

— О-о, Кирилл Иваныч! — громко приветствовал Василий Михайлович. — Ну-ка, гони, брат, деньги на бочку!

Оказалось, решено было отметить возвращение, и посему собирались складчины. Больше всего удивился Кирилл, узнав, что отмечать предстоит у въедливой, сразу не понравившейся ему Фанни Никаноровны — в ее особнячке за зеленым забором на одной из тихих улочек недалеко от школы.

Ну да бог с ней, с Фанней, главное — там будет Вера! А вдруг не придет? Заметил Кирилл ее настороженность: видит его — старается поскорее пройти мимо, отводит глаза. Сказали же ей, конечно, о его приезде, вот и стала держать ухо востро. «Дурак я, дурак, отпугнул только», — клял себя Кирилл и с тем большим тревожным нетерпением ждал назначеннего срока.

Наконец настала суббота. На уроках он был покладист сверх меры, наставил направо-налево пятерок и даже простили очередную выходку долговязого переростка Макорина, ужасно изобретательного по части всяческих пакостей. Сидел он, как водится, на последней парте и развлекался тем, что допекал учителей и своих павших одноклассников. Фантазия его тут не знала предела. Решил он отличиться и на сей раз. Проходили устное народное творчество, и Кирилл ближе к концу урока предложил ребятам загадывать друг другу загадки. Кто же их не знает — сразу поднялось множество рук: «Над избушкой висят хлеба краюшка», «Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Спрашивали еще и еще. Но вот фольклорный запас стал иссякать, и Кирилл не раз уже взглядывал на часы в ожидании звонка.

А его все не было — видно, опять зазевалась техничка. Между тем Кирилл, мысленно весь уже устремленный в предстоящий вечер, с удивлением заметил, что на последней парте упорно тянет руку Макорин. Его все больше подогревало отсутствие конкурентов, и он так и ерзал. Интуитивно опасаясь подвоха и вовсю проклиная развязу-техничку, Кирилл все же рискнул дать долговязому слово. Изумленные ребячью мордочки, как по команде, повернулись назад: уж слишком странно было,

что вызвался отвечать сам Макора. А тот с серьезным видом, моргая выцветшими соломенными ресницами, среди пастроженной тишины, произнес: «Сверху черно, внутри красно...» Договорить он, к счастью, не успел: раздался, наконец, спасительный звонок.

— Урок окончен! — почти выкрикнул Кирилл. Ребятишки, хихикая, дружно, словно воробы, выпорхнули из класса. Поспешно скрылся в дверях и Макорин. Кирилл несколько мгновений стоял, тупо глядя в стену, а потом, опомнившись, чуть не бегом пустился догонять проклятого насмешника. Поймался тот у самого выхода.

— Послушай, — сдавленно, кипя от негодования, прохрипел Кирилл. — Да как ты... как ты смел... в пятом классе?

— А че я такого сказал?

— Ты еще будешь спрашивать?

— А че такого? Я-то загадал про галоши! — победно воскликнул верзила. Он знал, что довод его неотразим.

Ну что тут ему скажешь? Кприлл пошел было в учительскую, но вспомнил, что уроков сегодня больше нет, и можно отправляться домой. И бог с ним, с Макориным, чего с него, шалопая, возьмешь? Ведь вечером... вечером!.. И, окрыленный, в радостном и тревожном ожидании чего-то зашагал по неширокой зеленою улице к автобусной остановке. Светлое чувство грустноватой умилиennости, любви ко всему на свете — увядающему осеннему дню, домишкам за заборами, низким лавочкам у калиток, дремлющим в легкой солнечно-фиолетовой дымке, отдыхающим после знойного лета яблоневым и грушевым садам... Еще несколько часов, и он — и Вера, Вера, неужели же, черт возьми, может случиться напаче! — подойдет на соседней улице к старечькой, увитой плющом деревянной калитке.

...За двумя сдвинутыми столами в небольшой, выходящей окнами в сад комнате было уже полно народа. Кирилл немного припоздал, провозившись дома с гла-жением костюма и рубашек, потом, вспотев от нервного напряжения, долго торчал на автобусной остановке, и уже в полной темноте не сразу нашел нужный адрес. Появился он на пороге в ту минуту, когда гости готовились приступить к трапезе и в ожидании первого тоста не без удовольствия оглядывали расставленные в изобилии яства, прикидывали, чем сподручнее первона-паперво закусить.

— Ур-ра, Кирилл Иваныч! Наконец-то! — обходив-

ший из правах тамады застолье с бутылкой в руке Василий Михайлович вскинул ее к потолку в знак приветствия.

— Штрафную ему, Вася! — пробасил с края стола физкультурник Виктор Степанович. Еще до отъезда в совхоз он успел завести новичка в свою теснину, захламленную каптерку, где всегда наготове имелась надежно припрятанная бутыль дешевого, популярного в народе розового портвейна. Пришлось-таки тогда ради посвящения в рыцари опрокинуть захваченный пальцами, пахнущий воблой граниченый стакан.

— Правильно, наливай ему штрафную! — гаркнула математичка Александра Семеновна.

— Налить, наливай!

— Да будет вам, товарищи! Богнали человека в краску, — урезонила Фанна Никаноровна.

И в самом деле, щеки Кирилла пылали багрянцем и, чувствуя это, он, как всегда, смущался еще больше, человечко суетился, улыбаясь и не зная, куда отвести глаза. Причиной тому была Вера. Он первой замстил ее, лишь переступив порог, и быстрый, пугливыи Верии взгляд ударил его, словно током.

Усадили Кирилла с краю, рядом с физкультурником. Виктор Степанович с готовностью взял над ним шефство, оттолкнул в сторонку стопку и до краев наполнил любезные его душе — правда, не граниченые — гладкостенные, в розовых цветочках стаканы.

— Ну, друзья, давайте — за успешное окончание сельхозработ! — осклабился Василий Михайлович.

Нерешительно поднял Кирилл стакан — так хорошо все видно с места Vere! — но ретивый помощник тамады подбодрил его толчком в коленку и, чокаясь, добавил к тосту:

— Ну, Кирюха, поехали!

Кирилл продолжал медлить, и заботливый опекун, держа стакан наготове, опять подстегнул:

— Давай, давай, только после тебя!

Пить одним махом Кирилл не умел, по и выказывать того не хотелось. С лихой небрежностью опрокинул стакан, но водка застряла в горле, и, невольно передергиваясь и морщась, он кое-как почти до конца одолел эту небывалую для себя дозу.

Довольный Виктор Степанович поспешил подать ему соленый огурец и тут же сам, залпом, не моргнув выпил.

За столом сделалось шумно. Каждый бородил кто

во что горазд, сквозь общий гвалт доносились громкие похвалы выставленным хозяйкой закускам. Пристив энтузиазма вызвало только что поданное на огромном подносе коропшое блюдо — жареный гусь, обложенный красиво подрумянившейся картошкой и яблоками.

Все это доходило до Кирилла словно через зыбкую радужную завесу. С веселым отчаянием отпил он из сплошного усердливо наполненного соседом стакана, машинально принял за сочающуюся янтарным жиром гусиную ногу, а сам все смелее и неотрывнее глядел туда, где сидела Вера. Он чувствовал, что дотошная завучиха догадалась о чем-то и стала исподтишка за ним наблюдать. Но теперь ему было все равно. Вера, такая юная, хрупкая и прекрасная, в своем слегка затененном и оттого казавшемся далеким, недоступным углу чему-то смеялась, живо переговариваясь с математичкой и двумя учительшами начальных классов. И сделалось Кириллу обидно, что все складывается не так, и до слез жалил себя, и доносящийся сквозь гомон Верии смех больно царапал душу. Между тем за столом началось движение. Кое-кто пересаживался в угол на диван рядом с унылым физкультурником, другие выходили во двор.

Дочь завучихи — звали ее тоже Фания, Фая: матушка пристроила ее у себя в школе лаборанткой — включила радиолу. Бодро, с подвигиванием, заинстал фокстрот «Рио-Рита», и в душной полумгле замельтешили танцующие. Среди них Кирилл разглядел и Веру. Возле нее неуклюже топтался Василий Михайлович.

— Ну, что, Кирюха, покурим? — крепко хлопнула соседка по плечу Виктор Степанович. Кирилл в ответ лишь неопределенно махнул рукой.

— Пойдем, чего ты, на воле опо получает, — не отставал физкультурник.

Кирилл неохотно поднялся, ощущая непривычную тяжесть в теле. Неужели и теперь хоть кто-нибудь не обратит внимания, не окликнет? Но пластинка все так же шипела, и все так же безучастно к его душевной маяте и покинутости веселились довольные собою и жизнью, чужие ему люди.

Потом они вышли во двор, закурили. Физкультурник, похочатывая, стал травить анекдоты. Кирилл не слушал, только делал вид. Он не знал, как ему поступить. Хотелось домой, в тишину, но в то же время удерживала еще какая-то неясная сила.

— Чевой-то ты, смотрю я, не в себе. Влюбился, что

ли? — физкультурник ткнул Кирилла в бок дюжим кулаком. — Плюнь на все. Идем-ка лучше поправимся — лекарства там вроде бы хватает!

Совсем недолго побыли они во дворе, а вернулись — Кирилл сразу почувствовал: что-то здесь изменилось. Гости снова сидели за столом, без тостов пили, громко болтали, дюжая математичка, тяжело откинувшись на спинку стула, пробовала уже затянуть: «Вот кто-то с горочкой спустился...» А место рядом с математичкой заняло пустотой: Веры не было.

«Ушта!» От этой догадки Кирилл даже вздрогнул. «Так тебе, дураку, и надо. Ждал, когда сама позовет. Вот — дождался!» — честил он себя, обреченно опустив голову и крепко стиснув ладонями гулко стучавшие виски.

А застолье между тем с восторгом подхватило как-то само собой вспыхнувшие, памятные Кириллу с недавних студенческих лет куплеты:

Маруся вдруг решила,  
Что жись стала хужей,  
И в грудь себе вонзила  
Шиншиадцать столовых ножей.

Василий Михайлович, дурачясь, взял на себя роль дирижера и стал размахивать в воздухе вилкой:

Марусю в крематорий  
На тракторе везут.  
И вдруг в тоске и горе  
Миленок ее тут как тут.

Я сам ей жись ишпортил.  
И виноват я сам.  
Насыпьте пеплу в портфель  
На память четыреста грамм.

— На-ка, Кирюха, держи! — перекрывая поющим, скомандовал Виктор Степанович. Кирилл, расплескивая, взял протянутый волосатой рукой стакан.

— Ну, поехали, аллюр два креста!

Кириллу было теперь все равно. Он успел лишь подумать о том, что уже поздно, бабушка давно на балконе дежурит, все глаза, небось, проглядела, и когда он еще домой доберется, и неоткуда ведь даже позвонить. Сердце сжалась тоска, и он — будь что будет! — зажмурившись, опорожнил стакан большими, судорожными глотками...

Очуился Кирилл от сильной тряски. В темноте ничего

не мог понять, пока не разглядел вверху чуть светлое-ший квадрат, перечеркнутый толстой решеткой. Квадрат дергался, подпрыгивал в такт движению, выхватывая время от времени из мрака желтый свет уличных фонарей. Но — как очутился он в этой ловушке, в тряском железном фургоне? Кирилл пытался восстановить события, но нить безнадежно рвалась...

Круто повернув — видно, въехали во двор,— машина остановилась, громыхнула щеколда, и в узком проеме распахнувшейся двери показалась милицейская фурштак:

— А ну, вылезай!

Кирилл тяжело спрыгнул, отряхнулся, оглядываясь по сторонам.

— Шагай, шагай! — подтолкнул его к крыльцу вытянутого одноэтажного дома конвоир.

За столом в полупустой ярко освещенной комнате сидел дежурный.

— Вот, получайте пополнение. А мы дальше поехали, — сказал конвоир, козырнул и вышел.

Перед дежурным лежал разграфленный журнал, но записывать он ничего не стал, отомкнул ключом какую-то дверь, пропустил Кирилла и тут же снова запер. Кирилл оказался в полной темноте. Судя по всему, окна тут вовсе не было. Лишь тоненькими желтыми полосками обозначились в кромешной тьме дверные щели.

Некоторое время Кирилл постоял, свыкаясь с темнотой. Отчетливо доносился голос дежурного, который докладывал о чем-то по телефону.

«Эх, позвонить бы домой!» — обожгла Кирилла мысль и с этого мгновения завладела им полностью. С нетерпением, мчась от стеки к стеке, ждал он, когда дежурный кончит разговор. Как только тот повесил трубку, Кирилл спачала деликатно, а потом все решительнее застучал по двери.

— Слушай, друг, чего толку-то, ложись себе лучше отдохай, — раздался вдруг с пола за спиной сиплый голос. От неожиданности Кирилл обомлел. Оказывается, тут не один он почует взаперти по чужой воле. Однако это лишь еще больше растревило его, и он продолжал тарабанить.

— Что за стук? Чего надо? — спросил милиционер из-за двери.

— Товарищ милиционер, откройте, пожалуйста! — горячо попросил Кирилл.

— По нужде, что ль, приспичило?

— Да нет, мне бы только домой позвонить!

— Ну, чего захотел. Утром видно будет, а теперь — не положено.

— Ну, пожалуйста, товарищ милиционер. Мне ведь только на минутку!

— Сказал русским языком — не положено! И вообще — копчай, не то хуже будет!

Шаги стали удаляться. От жгучей обиды и бессилия кровь прилила к голове, застучало в висках.

— Слышь, сосед,— опять просипел с пола незнакомец, — всамделе, отыхал бы: имя перечить — что против ветра плевать.

«Черт возьми, дома уж, наверное, с ума сходят. Да вот еще советчик нашелся, в соседи записал. Нет, это вам так не пройдет!»

Все казалось обидным, нелепым, отвратительным: этот с трепетом душевным и радужными надеждами ожидаемый вечер, завершившийся так глупо, и то, что он остался сейчас один на один со своей бедой, и никому здесь до того нет никакого дела. Да неужели, черт возьми, думал он, ожесточаясь, вам нисколько меня не жаль? Неужели вы думаете, я могу спокойно дожидаться утра, сидеть в этой проклятой западне, откуда до дома, может, каких-нибудь двадцать минут? Нет, вы дадите мне позвонить, все равно дадите! И он опять отчаянно заколотил в дверь, помогая кулакам ботинками на крепкой, массивной подошве.

Громыхая, Кирилл не слышал приближающихся шагов. Дверь снова распахнулась, и на пороге выросли двое. В одном он успел узнать дежурного, а другой, фигурант помельче, пантерой метнулся к нему. Кирилл отпрянул в угол и, задев соседа, упал, стукнувшись спиной о стену.

— Погоди, — сказал дежурный своему подручному. И тут же — Кириллу:

— Ты чего орешь?

— А за что вы меня тут держите? — Кирилл с кряхтением стал подниматься, отряхиваясь.

Кто знает, как бы развивались события, не появившись тут родители. Донеслось вдруг знакомое «Боже мой, боже мой!» — и не успел Кирилл удивиться, как дверь опять распахнулась и дежурный, из-за плеча которого выглядывало страдальческое лицо матушки, готовившейся, верно, увидеть бог знает какие страсти, велел

ему выйти. В голосе милиционера не было суворости — матушка, видимо, успела ему кое-что объяснить, — но почему-то это заставило Кирилла лишь сильнее ощутить, только что пережитое унижение, и он, засопев, скжал кулаки, сморщился, с ненавистью глядя в плотную милиционскую спину.

— Кирюша, ради бога, прошу тебя! — умоляюще зашептала матушка и мертвой хваткой вцепилась в рукав.

Так они прошествовали вслед за дежурным, шумно грохотовшим коваными сапогами по коридору, до крыльца. Во дворе ждало такси. Желтый свет лампы на столбе выхватывал машину из мрака, и в кабине рядом с шофером Кирилл увидел нахохлившуюся фигуру отца. Свою служебную «Волгу» он среди почти вызвать не мог, а скорее всего не захотел. Он встретил Кирилла молчанием, даже не обернулся к нему с матушкой, только кряхтел да попыхивал сигаретой. И опять остро, как тошнота, подступила к горлу горьким комком жалость к самому себе, к тому, что так пелено закопчился вечер, с которым было связано столько радужных, томительноп-тревожных надежд, и Кирилл заплакал, громко, по-детски всхлипывая.

— Не надо, Кирюша, успокойся, — увещевала матушка, а отец лишь еще сердитее закряхтел и закашлялся.

Два дня после этого происшествия Кирилл жил с ощущением вселенской катастрофы. Он и ждал покорельника, и боялся его. Как встретят те, кто был на вечеринке? Как взглянет он в глаза Веру? И слышал ли многотерпеливый директор Павел Ефимович? Ну ладно, завучиха скроет, коль скандал случился у нее дома. Но — вдруг сообщат из милиции?

Директор, однако, Кирилла не вызвал, Фания Никапоровна и все остальные вели себя, будто ничего особенного не произошло. Только физрук, успевший, видимо, с утра причаститься, посменялся да лукаво подмигивал, вздымая густую черную бровь и дружески толкая коллегу в бок локтем. Так и не понял Кирилл, узнал ли кто-нибудь о его почных злоключениях. Веру же тогда он не увидел. Не появлялась она и в следующие дни. И только в самом конце недели в учительской узнал, что неожиданно перешла вожатая в другую школу. Говорили, вроде ближе к дому, чтобы добираться без пересадок. А Кирилл объяснял событие только одним — пожеланием видеться после проклятой вечеринки, где он не обмолвился с нею ни словечком. Но почему, почему она

ушла так рано? Может быть, как раз поэтому? Долго терзался Кирилл, не находя ответа, был мрачен, расселян, машшалыло, по обязанности проводил уроки и стал частенько заглядывать к физруку, а по дороге из школы — в винный магазин в центре города на углу длинного здания с высоким шпилем, типичным образом архитектурных излишеств, какие одно время рьяно клеймили в печати. Здесь всегда можно было перехватить стакан-другой дешевого вина, дарившего обманчивую бодрость и стойкий запах, который сразу обнаруживала даже небдительная, во всем потакающая бабушка. Она ничего не говорила матери, только кротко вздохала — «Ох, Кирюша», — да старалась посытнее на-кормить своего единственного пенаглядного внука.

...Осень. Солнечные, умиротворенные, грустноватые дни. Отчего, откуда она, эта грусть, тайное полуосознанное желание, предчувствие каких-то неведомых поворотов судьбы? Слишком тонки, призрачны серебряные паутинки в воздухе, безмолвны оплавленные затяжным зноем листья застывших вдоль улиц над арыками еще молодых пирамидальных тополей.

Перед той, разлучившей их поездкой в колхоз, Кирилл впервые разыскал в лабиринте улиц Рабочего поселка — так назывался этот окраинный район, как говорили, по чьему-то высокому повелению выросший на пустующей заболоченной земле за старым городским кладбищем,— улицу Качалова и там, в конце пересекающего ее короткого тупикового проулка — малозаметную, всю в диком винограде и хмеле, калитку. Не успел постучать, как в глубине двора раздался грозный собачий рык. Тотчас, будто только и ждали сигнала, со всех сторон залаяли окрестные псы, и в окне дома за невысокими соседствующими с Вериной калиткой воротами показался библейский лик старухи в темном платке. Приставив ко лбу козырьком худую морщинистую ладонь, она всматривалась в парушителя спокойствия, и Кириллу стало не по себе. За калиткой же продолжал, гремя цепью, бесноваться невидимый за густыми ветвями и кажущийся оттого еще более свирепым страж Вериной обители. Так никто тогда к Кириллу не вышел, и он отправился домой, теша себя надеждой на скорую встречу...

И вот опять осень. Год миновал, как Вера ушла из

школы, и с тех пор он не видел ее ни разу. Она только снилась ему, и он порывался поехать в поселок, но все никак не мог решиться. И вот, кто его знает почему, в такой же, как тогда, солнечный, но уже по-сентябрьски задумчивый, по удивительному выражению кого-то из классиков,— вечерний день, едва дождавшись конца уроков, поехал не домой, а туда — к тем тополям, к тем похожим друг на друга улицам и проулкам, к той таинственной, являвшейся во сне, так и не открывшейся тогда заветной калитке.

Все здесь оставалось прежним, будто время каким-то чудом обходило поселок стороной. Все так же наискосок от автобусной остановки торговал маленький молчаливый базарчик; несколько старушек, словно бы и не уходивших с тех пор отсюда, продавали цветы, початки вареной кукурузы, семечки. Время от времени базарчик разгоняла милиция, но он тут же благополучно обосновывался на своем неприменимом месте. Кирилл купил у сухонькой, хлопотливо засуетившейся старушки большой букет белых, бледно-розовых и лиловых астр и, неся его лепестками Елиз. как веник, с гулко бьющимся сердцем направился к тому, ничем особым не отличающемуся, а для него — единственному и неповторимому проулку.

В тот день судьба смилоствила над Кириллом, он впервые переступил заветный порог, и даже грозный страж дома, старый, но еще сильный и статный Буран, сразу признал его, словно почувствовал, что пришелец в скором времени станет здесь своим...

Все было так потом, как водится,  
Как средь людей заведено,  
Когда и чет, и нечет сходятся  
Цветок в соцветие одино.  
Когда исажданье и негаданье —  
Ни разорвать, ни объяснить —  
Два чутких сердца свяжут накрепко  
Судьбы таинственная нить.

Все было... И позднее, до последнего автобуса, молчаливы прошлись в гумном саду у калитки. И вынужденное, по настоянию Веры, романтическое бегство через забор, по чужим задворкам, чтобы разминуться с каким-то назойливым поклонником, которого Кирилл никогда не видел, — может, Вера его просто выдумала. И первый, впопыхах, суматошный поцелуй в старом, дребезжащем, пропахшем бензином такси — тряхнуло

на извороте, и он исповеко, как телок, ткнулся в Верину щеку...

Поженились они на исходе зимы, а среди лета отправились в первое путешествие в родные Верину края — путешествие длительное, утомительное даже для них, тогда еще свободных, бездетных молодоженов, — самолетом, с пересадкой и почти часовым пересездом по кольцевой дороге из огромного, кишащего людом аэропорта в другой, заштатный, с провинциальным, мало-подходящим для столицы названием.

В том, большом аэропорту вышла у них, измотанных, ошелелых от сутолоки, шума и духоты, маленькая, но поучительная для Кирилла размолвка. Не то захотелось пить, не то чтобы скротать время — позднее это забылось, да и не в этом дело — выстоял он длившую очередь у буфетной стойки, купил стакан какого-то сока и один, без Веры — она осталась караулить единственное сидячее место с краю жесткого дивана — выпил весь сок до последней капли. Как это получилось, он и сам не мог объяснить, только вдруг явственно, физически ощутил на себе колющий, укоризненный взгляд. Обернулся — из дальнего угла зала на него смотрела Вера. Выражения ее лица было не различить, но он все понял и невольно съежился от растерянности и стыда. Вид у Кирилла был такой, будто он на глазах у всех совершил что-то непристойное. Что было делать? Купить еще соку и отнести жене? Но просто-напросто бог знает сколько. Подойти? Но как он посмотрит ей в глаза? «Черт связал с этим проклятым соком!» — терзался Кирилл. — Скажет — ничего себе, выбрала в спутники жизни единоличника». Вера ничего не сказала, да и некогда было — подошло время переезжать в другой аэропорт, — по молчанию ее, холодный, отчужденный взгляд и вовсе лишили Кирилла душевного равновесия. Правда, в дорожных хлопотах и суматохе маленькое происшествие быстро сгладилось, затмилось многими другими, но не исчезло бесследно из памяти «Все, кончилась беззаботная жизнь,— думал он всякий раз, вспоминая те неприятные минуты.— Теперь ть в первую очередь обязан заботиться не о себе. Видно главное теперь — в этом».

О Ручьевка, ты —  
Глубь российская.  
Целый день пути  
От Воронежа —

Града столыного —  
До твоих дворов  
По проезжему  
Тракту пыльному.

Тракту пыльному  
Да первому.  
Тихо дремлеши ты  
Посреди стени

В тридцати верстах  
От большой реки,  
От пресветлого  
Дона-батюшки.

Тридцать верст всего  
Не дошли сюда  
Злыя вороги,  
Поверили вспять

С крута берега.  
Посреди тебя —  
Камень памятный,  
А на камне том —

Звезда красная.  
А под той зездой —  
Буквы светятся:  
Столько вот сынов

Полегло твоих  
В битве праведной  
За родимый край,  
Землю отчую.

О Россия-мать,  
На лице твоем  
Деревенка та —  
Словно родника.

Словно родника,  
Точка малая,  
Точка малая,  
Неприметная...

Напевную, неторопливую эту песню, сложенную под явным влиянием никитинской «Руси», услышал и записал Кирилл в тот их первый приезд. И многое из того, о чем тут пелось, увидел он и пережил наяву. В самом деле пришлось им с Верой несколько часов трястись в раскаленной тесной «коробочке», битком набитой местным и приезжим людом. Выехали ранним погожим утром, и сразу за городом широко, во все стороны распахнулся залитый пежным розоватым светом равнинный простор, и в памяти само собой ожило-зас-

ло столько раз слышанное: «Под Воронежем у нас широки поля. Под Воронежем у нас хороша земля...» И только далеко после полуодия запыленный труяга автобус остановился, наконец, посреди довольно большого села, растянувшегося вдоль выбитого машинами и скотиной тракта, на неровной, поросшей коноплюю площади, главными достопримечательностями которой были обнесенный пизким штакетником, чтобы не забредали коровы, козы да свиньи, памятник погибшим в войну землякам, магазин с маленьенькими, зарешеченными оконцами да кирпичная — «красная» — школа, где когда-то училась Вера.

А песню услышал он уже едва ли не в первый вечер Тесть с тещей загодя оповестили всю дальнюю и ближнюю родню, не исключая и каких-то своих «хрестных», о которых Кирилл не имел никакого понятия, и постарались, приготовились к их встрече по всей форме. Что молодожены были уже с полугодовым стажем, не принималось в расчет: приехали в первый раз — значит, играй свадьбу съзнова. Да и где еще ручьевцам было погулять, потешить душу! И жили вроде не в медвежьем углу — до Москвы час лету! — а только и чередвадцать лет после войны, когда уж в космосе побывал Гагарин, не знали электричества и лампочку Ильин видели разве что на картинке.

Правда, в избе у Никодимовых — все же сельска интеллигентия! — было кое-что наособицу. В горнице и табуретке красовался радиоприемник «Родина», который работал от больших, как автомобильные аккумуляторы, черных батарей, они стояли рядом, на некрашном полу. Приемник был гордостью Ивана Макаровича. Он привез его из города и, пока не сели батареи, с выходным и праздниками — знай наших — включал с у раскрытою окна, и пол-Ручьевки сбегалось к дому послушать диковинный говорящий ящик. И в хозяйственном прогрессе: его олицетворял старый, закопченный племус, на котором она готовила борщи да картошку. Было еще отличие в никодимовском доме: этажерка двумя-тремя десятками потрепанных книжек. А в остном — изба как изба.

И вот, не успел Кирилл толком все это разглядеть, как завертала-закрутила их с Верой деревенская хмурая карусель. Первым делом пригласил дед Макар, ли они со своей круглой, степенной Ульяной — мате-

Ивана Макаровича -- на краю деревни. И жили крепко, корову держали, кур, уток, а огородище такой — картошки хватало по осени и на продажу; дед возил ее в город на базар. Потому каждое лето наведывались сюда всем семейством сестра Ивана Макаровича Маруся с мужем — грузным, по подвижным здоровяком Василием и двумя малыми чадами. Приезжали они бог знает откуда — из-за Полярного круга, из Мурманска, там Василий работал по строительной части. Отпуск ему полагался чуть ли не трехмесячный, и половину, а то и больше проводили они на вольных ледовых хлебах. Вот и в то лето не заставили себя ждать — явились на несколько дней раньше Шумиловых.

...Стол накрыли в подворье, под старой, раскидистой грушей. Постарались дед Макар с бабой Улей ради случая: стол, как говорили в старину, ломился от яств. Была тут даже диковинная морская рыба — палтус, которую Кирилл отродясь не видывал; ее привез на гостинец Василий. Ну, и, конечно, «горючее»: огромные старорежимные бутыли ярого самогона и домашнего же изготовления вишневой настойки. Тут и там темнели даже бутылки настоящего, магазинного пива. Это Иван Макарович отличился, раздобыл тоже специально ради торжества в Воронеже.

Собрались под вечер, когда начала спадать жара. Иван Макарович вырядился в черный костюм с институтским ромбиком на лацкане — не так давно он окончил заочно торговый институт, в чем была немалая заслуга Надежды Савельевны, все годы старательно выполнявшей за него задания и курсовые работы. А из нагрудного кармана тестя выглядывала полевая ромашка, придавая наряду особую торжественность. Ордена и медали он, правда, не надел — прикрепил лишь две полоски разноцветных орденских планок. А надеть ему было чего: среди наград имелся у него даже орден Славы; хоть и был Иван Макарович на восемь лет моложе тещи и всего на какую-нибудь дюжицу старше Кирилла, однако успел повоевать в разведывательных частях и побывал с какой-то военной миссией даже за границей — в Харбине, о чем рассказывал не без гордости, но слишком отрывочно и сумбурно. И вообще Кирилл с трудом, кое-как научился понимать его характерную, немыслимую скороговорку, особенно когда тестя бывал под градусом, а, учитывая, что служил он тогда экспедитором в сельпо, случалось это с ним весьма нередко, а точнее,

редко когда не случалось. Но при всем том меру свою он знал, и, по тещиным словам, за всю их жизнь не было случая, чтобы ее «любезный» свалился с ног от хмеля; оскорбленные мужики не раз пробовали его уронить, но, так ничего и не добившись, махнули рукой, отстали. И всегда и везде — такой уж был у него талант — становился Иван Макарович главой любого застолья, родственной ли, картечной ли компании, чему, может, кроме характера, способствовала еще и весьма нестандартная наружность: долговязой худощавой фигурой и вытянутым лицом очень напоминал тестя известного всем киноактера Филиппова.

Вот и у деда Макара он сразу же взял власть в свои руки. Перво-наперво познакомил со всеми зятя. Кроме самих хозяев дома и их мурманской родни были тут еще сестра деда Макара — тетка Нюра с мужем — дядей Ваней, на первый взгляд угрюмоватым, исподлобья посматривающим на Кирилла — ну-ка, мол, что ты за птица? — маленькими глазками, глубоко спрятанными под мохнатыми бровями на изрытом крупными оспинами, заросшем седой щетиной лице. Сначала Кириллу было как-то не по себе под его хмурым, буравящим взглядом. Он смущался, краснел, будто в чем-то виноватый, старался отвести глаза. Но после первого же тоста — а тут все мужчины, кроме Кирилла, по российской норме, из грапеных стаканов — дядя Ваня помягчел, даже заулыбался и словно вовсе забыл о виновниках торжества.

Застолье уже беспорядочную гудело; каждый говорил кто о чем с соседями и справа, и слева, и наперекрест по Кирилл продолжал себя чувствовать скованно. Еще более, что тот самый хмурый дядя Ваня, тяжело, не уклюже поднявшись — вместо одной ноги был у него протез, — грохнул вдруг кулаком по столу: «Это что еще гражданы, за порядки? Почему у Веркиного-то маленький стопарик? Нешто он не мужик? Не выпью, покуда по-нашенски, по-расейски стакана не хватит!»

— Да будет те — гляди-ка, распалился! — толкнул его в плечо тетка Нюра.

Тут же перед Кириллом оказался полнеоньевский стакан, и он уже, было, потянулся к нему, но Вера глянула так, что он забыл даже про ревностного своего контролера — диковатого дядю Ваню. А тот, к счастью, переключился на тетку Нюру: рубя воздух, как шашкой, сердцах втолковывал ей что-то.

Смеркалось. Пастух пригнал в деревню стадо, и Зорька деда Макара первой, шумно и сыто вздыхая, вошла в родное подворье. Застолье продолжалось своим чередом, лишь хозяйка взяла большое оцинкованное ведро и скрылась вслед за Зорькой в сарае. А вскоре всем гостям предложено было по кружке теплого, немыслимо ароматного, только что падоенного парного молока. Такое вкусное молоко Кирилл пил только в детстве, когда летом, на каникулах, жил с отцом в его родной, затерянной в вольной степи станице.

Подкрепившись парным молоком, словно живой водою, гости взбодрились, стали подниматься с лавок. Мужики с удовольствием задымили — кто ядреной махоркой, кто папиросами. Остальные забегали, захлопотали, перенося по просьбе хозяев посуду и кушанья в избу, где предстояло продолжение трапезы. Лишь Кириллу и Веру, как виновникам торжества, не позволили участвовать в хлопотах. А самогон между тем делал свое дело. Тетка Нюра вдруг подплыла, покачивая бедрами, к Шумиловым и, размахивая над головою косынкой, неожиданно звонким, молодым голосом запела:

Ах, обойду я вокруг груши —  
Не найду лучше Кирюши.  
Ах, обойду я вокруг вербы —  
Не найду я лучше Веры.

— Ну, тетка Нюра! Черт-дьявол! — одобрил Иван Макарович теткину импровизацию.

Тут дед Макар стал всех зазывать в избу, в горницу, снова за накрытый стол, который скрупульно освещала подвешенная к матице керосиновая лампа.

Расселись в прежнем порядке, только гораздо плотнее, и Иван Макарович, охваченный приступом местного патриотизма, толкнул Кирилла в бок:

— Видал? А ты говоришь! Да тетка Нюра чего хочешь тебе сочинит.

Однако дальше развернуться тетке Нюре не пришлось: подогретая ядренным самогоном, вдруг занялась, полыхнула по горнице захватившая всех в сладостный полон песня:

Ох ты, сад, ты мой сад,  
Сад зеле-о-о-шенький,  
Ты зачем рано расцвел,  
Раскудря-вился-а-а!

Кирилл подтягивал петромок, но с чувством умиления и благодарности пеяло кому или чему, может быть, самой песне, которая так легко и просто сблизила и уравнила его со всеми — хозяевами и гостями этой старой крестьянской избы, затерянной бог знает где под российским задумчивым небом.

И тут пришла пора тестя. Выждав момент, он затянулся и, когда вот-вот уже должно было смолкнуть последнее протяжное «а-а-а!», вдруг, вскинув голову, ухнул так оглушительно — дрогнуло пламя в лампе над столом и, запоюшно замстившись, погасло. Кирилл, опешив, машинально скакал в темноте Верину руку. И тут изба снова сотряслась, на сей раз от хохота.

— Ну, Мака-арыч! Ох-хо-хо!

— Во-о-така-а-ар-  
— Се-даст!

— Садет!

— Сам <sup>даёт!</sup> тошной — и откуда в ем столько дыху бе-  
рется? — <sup>С</sup> <sup>всех</sup> сторон.

— Ох, <sup>послось со всех сторон.</sup> Иван-Иван!, — закричала ведь учудит, неподобный! — кашая головой, притворно, скорее для порядка скрушила <sup>длань</sup> Савельевна.

— Да чьи певчие Савельевна?  
молодых певчих, какая без этого песни? Он же для ради  
заступился дед Макар.

На другой день гуляли у тетки Нюры, по тому же распорядку — спачала в саду, потом, когда стемнело, в горнице, тоже освещенной керосиновой лампой, и компания собралась преждия. И когда опять затянули «Ох ты, сад...», Кирилл в порыве вдохновенья, подражая тестю, гаркнул что есть силы, норовя погасить лампу, но не тут-тут, а позже, когда лампа чуть колыхнулась.

В ~~хозяйстве~~<sup>всегда</sup> было пламя чуть колыхнулось. гостям — у деда Макара и тетки Ню-  
ры побывали по вечерам не одни раз — пролетело отпускное время, и вечером, ~~и~~ <sup>на</sup> кануне отъезда, дед Макар явился сам с гостинцами на дорогу. Чинно, не спеша, достал из сумки завернутую в тряпичку бутыль, распеленал, старательно обтер, ~~хотя~~ <sup>и</sup> так была вполне чиста, и осторожно, будто могла взорваться, поставил на стол, накрытый продранной <sup>по углам</sup> клеенкой. Все это он проделывал молча, ~~и~~ <sup>занитригованные</sup> Кирилл и Вера в недоумении переглянулись. Тут дед откинул клеенку, налил на край столешницы чего-то из бутыли, загасил лампу и чиркнул спичкой. Занитригованные замерцало полупризрачное, голубоватое

самогон показывал наглядно. С тех пор таких гостей Шумиловым никто не даривал... Да и в Ручьевке побывать больше не пришлось. В конце того самого года родился Аркадий, с младенцем-то не разговаривая, ждали, пока подрастет, а когда окончил первый класс, появился на свет младший, тут стало и вовсе не до путешествий.

Приезжали одним летом Иван Макарович с Надеждой Савельевной внука посмотреть, с бабой Леной познакомиться, но та встретила их отчужденно, ясно давая понять, что она — женщина иного, интеллектуального круга и благоприобретенная провинциальная родня — ей вовсе не ровня. Подивилась Надежда Савельевна, да что поделаешь, на силу мил не будешь — постаралась как всегда скрыть недоумение и обиду. Обижаться она сроду не умела, следя в жизни библейской заповеди — зла злом не покрывай. Этому учила и Веру, но дочь удалась не в нее: с детства дралась с соседскими мальчишками — девчонок на их улице отчего-то не было. Заступаться за нее было некому: отца в глаза не видела — погиб на фронте, мать вечно в школе, другой отец, Иван Макарович, еще не появился. «Ох, Верка, и в кого ты только такая?» — удивлялась теща, когда дочка выказывала свой норов перед Кириллом. Пренебрежительное отношение свекрови к родителям глубоко задело Веру. Она сказала об этом Кириллу уже после их отъезда, и он, как всегда во время размолвок, терялся, не зная что предпринять, сердился и на жену, и на мать, и на себя самого. Порывался поговорить с матерью начистоту, но не знал, с чего начать, как заставить уважать родичей, ругал себя за бесхарактерность, но так и не решался на тягостный, неприятный разговор.

Как бы то ни было, гости уехали, и все в жизни пошло по прежнему. Баба Надя регулярно писала письма, адресуя их то Vere, то Аркадию, то Мише, в конце каждого непременно слала приветы Кириллу и бабе Лене. Сообщала новости: ушла на пенсию, дали вторую группу инвалидности — потрепала за годы житуха, — посадили или, наоборот, выкопали картошку, к деду Макару опять нагрянула из Мурманска родня, — ну, и все такое прочее. Особое место в письмах занимал, конечно, Иван Макарович. Его деятельной натуре становилось тесно в глухом ручьевском захолустье, и он так и рвался куда-то из своей надоеvшей, патриархальной избы. Тем более, что окончил заочно, при живейшем участии Надежды

Савельевны, торговый институт, украсив купленный по этому случаю китайский черный шелковый костюм престижным ромбиком. Тянуло его к цивилизации, к городу или, во всяком случае, куда-нибудь к нему поближе. Возвращаясь из поездки за товаром, все чаще говорил об одном приглянувшемся совхозе. Это уже не захолустная, затерявшая в степи Ручьевка. Конечно, и не город, но, можно сказать, под боком — всего в получасе езды. Из города через центральную усадьбу — асфальтированное шоссе, да не местного — межобластного значения. Двухэтажные дома с водопроводом, отоплением, телефоном.

Да что там дом — в центре поселка, на главной улице, у самого шоссе, украшенный с торца мозаикой из разноцветной керамики — только на нее одну, говорят, угрожали несколько тысяч — фирменный магазин «Океан» с белоснежными прилавками и прочими чудесами. Оно и понятно: совхоз образцовый, в газетах пишут, по телевидению на всю страну показывают, делегации выезжают разные, даже сам Фидель Кастро по шоссе мимо проезжал. Как узнал про все это Иван Макарович, потерял покой: сюда, только сюда и — никуда иначе. При каждой оказии стал в совхоз заворачивать, выведывать насчет работы. Пришлось ждать почти год, пока не освободилось подходящее место — уполномоченного по комбикормам. Зато приняли без разговоров: партийный, фронтовик, с дипломом. Да и просто пришелся, видно. Иван Макарович директору по душе. Сразу и квартиру дали — на первом этаже двухэтажного дома — совхоз к тому времени построил их несколько в центре усадьбы, недалеко от школы и универмага.

Надежду Савельевну долго уговаривать не пришлось. К тому времени была она уже на пенсии, ничто, кроме собственной избы, в Ручьевке ее не удерживало. Избу продавать не стали — да и покупателей в этакой глубинке не сразу сыщешь, никто пынче в деревню не едет, молодежь все больше в город бежит, — заколотили крест-накрест дверь и окна, наказали деду Макару на всякий случай поглядывать — и все хлоноты. И стали Никодимовы в одиночье, считай, почти что городскими жителями. Возле дома — асфальт. Не месить больше опостылевшую невылезающую грязь. В квартире — свет, водопровод, газовая плита с баллоном и даже — предмет особой гордости Ивана Макаровича — телефон. Вот на радостях и поднял он однажды глубокой почью Шу-

миловых резкими беспрерывными звонками, прорываясь сквозь шум и треск черт знает из какой невообразимой дали:

— Кирилл Иваныч! Кирюш! Кирилл Иваныч!

Сознавая, видимо, торжественность момента, Иван Макарович величал зятя по имени-отчеству.

— Кирилл Иваныч! Это я! Я со своей квартиры звоню! Понял? Запиши мой номер: один двадцать один! Понял? Один двадцать один! Черт-дьявол!

Чувствовалось, что теща уже успел как следует причаститься. Надежда Савельевна выхватила трубку, но смогла лишь поздороваться: телефон вдруг разъединился. А через неделю прислала письмо — звала на новоселье, зазывала горячо, многословно расписывая достоинства нового жилья, радужные картины отпуска, который могут провести Кирилл и Вера с детьми, и так это было по-деревенски простодушно, наивно и трогательно, что отказаться они не решились. К тому же тем летом первые ввели прямой рейс, дорога намного облегчалась, не надо было как прежде, колесить по Москве, пересаживаться на другой самолет да потом еще полдня трястись в автобусе.

Баба Лена, как всегда, когда дело касалось каких-либо начинаний, связанных с Вериной родней, отнеслась к путешествию скептически, хотя и — тоже, как всегда — воздержалась от собственных конкретных предложений. Зато не преминула с подробностями расписать несколько устрашающих историй об ограблении квартир, которые ей поведали телефонные осведомительницы, и посоветовала в свете изложенного, прежде чем ехать, принять меры предосторожности и поставить квартиру на сигнализацию. Сама она сделала это еще три года назад и с тех пор была привязана к дому, как бычок на веревочке. Уходишь — звони в милицию, вернутся — опять же сообщай на пост: мороки хватает. Но бабе Лени это было не в тягость, напротив, создавало видимость общения и некой стабильной отлаженности бытия. Когда Аркадий несколько месяцев жил у нее перед окончанием школы, она даже ему, десятикласснику, не доверяла ключей, и он не однажды после уроков вынужден был ждать во дворе или оставался в квартире закрытым на замок, что каждый раз вызывало у Веры негодование. А вдруг, не дай бог, что случится — пожар, землетрясение, тогда мальчишка окажется в ловушке, резонно возмущалась Вера, и Кирилл соглашался, что так не го-

дится, однако не решался сказать бабе Лене, и все оставалось по-прежнему.

Нет, не стали Шумиловы связываться с сигнализацией. Просто зашла Вера к соседке, пенсионерке Елизавете Степановне — внешне суровой, а на самом деле обиходной, доброй, бабушке целого выводка внуков, которых им с дедом, бывшим главным редактором важного, малоочитаемого журнала, а ныне — охота пуще неволи — сотрудником какой-то ведомственной многотиражки — то и дело, в будни и праздники подбрасывали вместе с заросшим, грязноватым пуделем две замужние дочери. Елизавета Степановна без долгих слов согласилась присматривать за квартирой, поливать комнатные растения — лимон и перец в горшочках; их Вера перенесла к соседке. Впрочем, без долгих слов — не совсем верно. Согласилась-то соседка сразу, но, чрезвычайно охочая до всяческих местных новостей, дотошно расспросила обо всем, лишь каким-то чудом не затронув тему почему Лены, чему Вера очень обрадовалась: объясняться было бы свекровь не берется присматривать за квартирой чужому слишком неприятно, да и как такое объяснишь человеку...

... «Уважаемые пассажиры! Справа по борту вы мс-  
жете наблюдать озеро Балхаш», — голос стюардессы  
прорывавшийся сквозь монотонный гул, вызванный  
Кириллом из сонного полузабытья. Он потянулся к пилоту  
миниатору, потеревожив мирно посапывающую на его  
угловатом плече, словно на жесткой подушке, вконец ви-  
мотанную предотъездными хлопотами Веру, и стал смо-  
реть вниз, на унылую, выжженную солнцем землю. С  
дели они у правого борта, однако никакого озера не уви-  
дели: она конца тянулась однообразная, скучная пустыня. Она без конца тянулась однообразная, скучная пустыня.  
которым не мог понять, куда же делось то озеро, и  
только впервые пролетал еще в детстве, вместе с отцом  
могут гораздо медленнее и ниже, на двухмоторном с  
Тогда, с длинными железными сиденьями вдоль борта  
голубой, казалось, бесконечно долго висели они над  
ниной, по-морскому уходящей к горизонту водной ра-  
том, пока не очнулись вдруг на раскаленном, зажигающемся  
маленьким красноватыми, подернутыми струящимися  
маленьким сопкам аэродроме одноименного с озером  
городка, над которым господствовали огромные  
таких Кирилл никогда еще не видел — порази-  
106

шие его воображение трубы с длинными, словно застывшими хвостами буровато-желтого дыма.

Теперь он прильнул к круглому стеклу, ощутив мелкую вибрацию, и, щурясь от ослепительного света, не сразу разглядел далеко позади блестающий на солнце неровный зеркальный осколок. Оказалось, Балхаш они давно пролетели — и наблюдать было уже нечего.

А вскоре стали передавать информацию о городе, где предстояла первая посадка, «сердце целины», как звались в бесстрастно зачитываемом стюардессой стандартном аэрофлотовском тексте.

Теперь вид в иллюминаторе заметно изменился: до горизонта тянулись прямоугольники, клинья, квадраты полей, с зелеными разводами лесов и голубыми краинами озер. Вдруг сделалось сумрачно — снижаясь, пирнули в плотную толщу облаков,— а когда вынырнули, на иллюминатор откуда-то из глубины стал косо надвигаться пестрый, поставленный под углом к горизонту макет. Он тут же выровнялся, начал с каждой минутой укрупняться, прорисовываться, и вот уже самолёт, встряхнувшись, пробежал по серой бетонке посадочной полосы и остановился напротив такого же серого, вытянутого здания с транспарантом по фронту: «Добро пожаловать на землю целины!»

Пока подгоняли трап, Кирилл смотрел на это здание, на все, что еще попадало в поле зрения, и ничего не узнавал. «Тридцать лет... неужели тридцать?» — изумился он, прикинув, сколько минуло с той поры, когда он мальчишкой последний раз был здесь пролетом вместе с отцом. Все тогда было другое — и земляной аэродром, сливающийся с окрестною ковыльной степью, и сам невеликий городишко, который тогда еще назывался прежним, неозвучным новому времени именем — Акмолинск — «ак мола» — «белая могила». Не слышал, не знал тогда Кирилл слова «целина» — оно зазвучало позднее, — зато саму ее, овеянную неповторимыми запахами трав и горькой полыни — запахами, которыми так наслаждался отец, — целинную эту землю, не похожую на ту, где родился и рос, Кирилл полюбил крепкой, неутихающей любовью.

Предстояло скоротать полчаса. Шумиловы вместе с остальными спутниками вошли в аэровокзал и не спеша, будто в театральном фойе во время антракта, стали флангировать по длинному душноватому гулкому залу, ставленному жесткими диванами, впритык — и одно-

го свободного места -- запятыми, как в любом другом аэропорту, читающей, дремлющей, томящейся в ожидании рейсов публикой. Только и оказалось примечательного -- гигантский полузасохший фикус в огромном, крашенном зеленой краской ящике, словно перекочевавший сюда из какого-нибудь старого провинциального ресторана и выглядевший явным анахронизмом по соседству с автоматическими информационными табло и электронными часами, на которых, впрочем, тоже вполне по-провинциальному сидели вездесущие нахальные попыры-воробыни.

— Гляди, гляди — воробы! — завидев их, стал дергать отца за рукав мальчишка, похожий на Мишу. — Вон, они они, — восторженно шептал он, словно боясь спугнуть необыкновенное чудо.

Кирилл рассмеялся. Ему припомнилось, как они с Верой впервые водили совсем еще маленького Аркадия в зоопарк, долго показывали ему слонов, зебр, обезьян, белых медведей и еще много разных диковинных животных, а потом, насмотревшись, сели отдохнуть на скамейку. Аркадий же принялся что-то усердно рассматривать возле скалы на асфальте. Это «что-то» оказалось обыкновеннейшей букашкой, но как раз она-то и произвела на него самое большое впечатление. Во всяком случае, когда баба Лена, как обычно, по телефону спросила, когда же ему больше всего понравилось, он, не задумываясь, ответил: «Божая коровка!»

Приблизились к газетному киоску, и Кирилл удивился обилию толстых журналов — и столичных, и провинциальных. Одни пылились на длинном прилавке, другие на боковых полках, третий — совсем уж, видно, в смысле сбыта безнадежные — кипами валялись на полу. Самую большую составляли десятка четыре экземпляров некогда славного, небезразличного Кириллу журнала, в котором раньше печатались по-настоящему интересные вещи; в ту пору за ним охотились в Ленинграде и Москву... Кириллу хотелось поделиться с Верой своими соображениями об этом, но тут объявили посадку, они сообщили двери, над которой красным пунктиром замечали *заспешили* *их* рейса...

— Уважаемые пассажиры! Наш полет продолжается... — Уважаемые пассажиры! Просим вас приготовиться, застегнуть привязные ремни. — Пятьнадцать минут, а самолет отчего-то не лумал трогаться с места. Сделалось душно, пассажиры

нестерпеливо засрзали в креслах, уставились в иллюминаторы, безуспешно пытаясь разгадать причину задержки.

От нечего делать Кирилл стал разглядывать новых, только что севших в самолет спутников. В одном ряду с Шумиловыми теперь расположился дюжий парень с бородкой — молодой папаша двух шустрых, шумливых, непоседливых погодков. В отличие от своих экспансивных чад, папаша хранил олимпийское спокойствие, не обращая на их проказы ровно никакого внимания.

В ожидании прошло еще полчаса, сидеть неподвижно в раскаленном самолетном чреве стало уже невмоготу, и среди пассажиров начался ропот. Однако почему-то никто не решился побеспокоить стюардесс, которые, в свою очередь, все это время предпочитали скрываться за занавесками, и только изредка быстро, ни на кого не глядя, с чрезвычайно озабоченным видом пересекали салон, чтобы тут же опять надолго исчезнуть.

— С багажом что-то никак не разберутся, — гордый собственной осведомленностью, авторитетно прокомментировал молодой папаша, хотя было неведомо, откуда мог он почерпнуть такие сведения.

— Уважаемые пассажиры! Наш полет продолжается, — как ни в чем не бывало опять объявила стюардесса. — Просим вас приготовиться, застегнуть привязные ремни.

Наконец-то снова взревели моторы, лайнер дрогнул и побежал по бетонке, из вентиляторов потянуло спасительной прохладой. Молодой, невозмутимый папаша с бородкой тут же заснул, а его необузданые дьяволята устроили такой ералаш, так восторженно завизжали и затопали, что сидящая впереди чопорная дама в высоком рыжем парике, оглянувшись, с брезгливой гримасой воззрилась на них и на их безответственно ушедшего в себя папашу. Но дьяволятам не было до дамы никакого дела, и они еще целый час визжали и бесились и угомонились лишь, когда, подлетая к большому городу, опять-таки с мощными дымящими трубами, шлейфы которых на фоне сумрачных, уже погруженных в темень лесов казались огненными от лучей закатного солнца, прилипли к иллюминатору, заинтригованы необыкновенной, красочной картиной.

Это уже был Урал, это уже была Россия. Но до конечной цели путешествия предстоял еще один перелет. Шумиловы снова полчаса походили взад-вперед по дли-

шому зданию аэропорта. На сей раз вовремя, без задержки взлетели. Кирилл развернул купленную в аэропорту вечерку и сначала бегло просмотрел, мысленно сравнивая ее со «своей», где когда-то после затянувшейся педагогической карьеры начинал новую, журналистскую стезю,— сравнение оказалось не в пользу здешней газеты, выглядевшей гораздо скучнее,— потом стал читать длинную статью, из которой узнал, что город на реке Целяби, откуда они только что вылетели, был заложен в восемнадцатом веке русским послом Тевкелевым и сейчас готовится отметить двести сорок шестой год рождения. Одолев статью, переметнулся на другую — о недостатках в заготовке грибов и прочих даров природы. Читал, не вникая в смысл, лишь бы скоротать время; слишком далекими казались здесь, между небом и землей, проблемы местных кооператоров.

Лететь оставалось недолго, мысли устремлялись вперед, туда, где в густой, чернильной тьме обозначалась светлеющая с каждой минутой туманность, и вскоре в сей уже зароились, забагровели, будто угли в огромном, селенском камине, бесконные полночные огни...

Долговязую фигуру Ивана Макаровича в гурьбе встречающих приметили сразу. Выряженный ради торжественного случая в темный костюм с давно знакомым Кириллу институтским значком и пестрым прямом гольником орденских планок, он стоял у стеклянной двери, высоко держа перед собой, словно факел, роскошный, весомый букет. Букет перекочевал к Вере, Иван Макарович взял у нее чемодан и, всем своим видом командовав — за мной! — горделиво, не обращая внимания на предлагающих свои услуги частников и таксистов, шагал наискосок через площадь к нахохлившемуся в ожидании кургузому директорскому «газику». Пожилой предупредительный шофер с готовностью помог погрузить чемодан и сумки, расселись — Иван Макарович впереди, Шумиловы сзади, — «газик» круто развернулся и редко побежал в темь, выхватывая прыгающим светом зскую полоску шоссе с низенькими километровыми столбами. Смотреть было не на что — дорога шла в обход города, да и не хотелось: глаза порядком устали за день ослепительного роскошества небесных красок и первой земной мельтешки. Около часа разматывалась вете фар дорожная лента, пока не появились впереди щедрые огни погруженного в сон совхозного поселка, зле слабо светящейся аквариумной коробки «Океана».

того самого, о котором не раз, как о главной достопримечательности, писала Надежда Савельевна, свернули с шоссе в темный проулок, затем — в другой и остановились перед палисадником длинного двухэтажного дома. На первом этаже светилось одно-единственное окно. Там сразу же мелькнул силуэт: затомившаяся в ожидании Надежда Савельевна, завидев «газик», метнулась на улицу. Тут она принялась бестолково суетиться, стараясь перецеловать всех сразу, а Иван Макарович, не склонный к сантиментам, захватив чемоданы и сумки, без лишних слов направился в дом, толкнув локтем Кирилла — дескать, есть дело, и стоит ли терять время на всякие женские ахи да охи.

Теща подготовилась к встрече как положено: в единственной узкотатой комнате, несмотря на поздний час, ждал установленный кушаньями стол, причем кушанья были выставлены только что: шипело на огромной сковороде залитое яйцом жаркое, душистым паром исходило прочерневший чугунок, с верхом наполненный ровными, как на подбор, необыкновенной величины картофелинами. В кринке белело издающее тонкий, неповторимый аромат густое парное молоко, а в центре в большой миске красовались ядреные, в светлых пупырышках, огурцы и отборные розоватые помидоры. Рядышком отдельной кучкой лежали головки чеснока, самого почитаемого Иваном Макаровичем овоща, без которого — это Кириллу помнилось еще по Ручьевке — тесть никогда за стол не садился.

Как ни хорошо было угождение, как ни хотелось бабе Наде сразу вдоволь наговориться, трапезничали недолго — сказалась усталость, да и разница во времени немалая: дома у Шумиловых, считай, уже наступало утро. Оставив стол неубранным, женщины улеглись, а Иван Макарович с Кириллом перешли в тесную — негде повернуться — кухоньку. В другой раз, конечно, посидели бы подольше, но Кирилл ощущал вдруг неодолимую тяжесть во всем теле, глаза его стали слипаться и, вопреки обыкновению, как попало бросив одежду на стул, он пробрался вптымах к постели. Вера уже сладко спала, вдыхая аромат лежащих под кроватью пахучих айтоновских яблок, и кто знает, что спилюсь ей — сады ли России, сады ее детства, или те — поздние, горные, где в грустном, жарком осеннем мареве искинут к высохшей, отдавшей уже за лето соки траве яблоневые ветки, уве-

шанные огромными, до неправдоподобия красивыми, словно бутафорскими плодами...

Тело Кирилла каждой клеточкой радовалось долго-ждашему покою, но заснуть он, как всегда на новом месте, долго не мог. На кухне с неожиданной мощью грохотал старенький, выдавший виды холодильник «Саратов», а как только он, вздрогнув в конвульсии, временно затихал, тут же, будто по команде, принимался во всю мочь храть Иван Макарович. Сделалось душно, заболела голова, но пришлось терпеть — спасительный штурман Вера уложила в какой-то закуток чемодана, попробуй сейчас отыщи, — и, промаявшись еще бог знает сколько, Кирилл забылся в тяжелом сне лишь под утро, когда в мутноватом окне, будто на черно-белой гравюре, серенький рассвет едва прступил сквозь ажурную резьбу притихших, о чем-то доверительно шепчуших стеклу вишневых листьев...

— А-лло, гараж? Федотыч, ты, что ли? Это я, Никодимов. А Васька где? Нету? Куда ж он делся, черт-дьявол? Я ж там его только полчаса как видел!

Кирилл проснулся от беззлобного крика Ивана Макаровича. Телефон, стоящий на столике рядом с телевизором, бросался в глаза ярко-красным цветом и приглоснотой формой — такой Кириллу приходилось видеть среди множества других лишь в кабинете своего начальника. Необычной, подковообразной была и телефонная трубка, которую тесть держал картино, на отлете, явно желая произвести на зятя должный эффект. Похоже, он и звонил-то только ради этого.

— Гараж? — продолжал кричать Иван Макарович. — Так значит, Васьки нету? Скажи ему, что я звонил. Будь любезна!

«Говорит с мужиком, а — будь любезна», — с удивлением подумал Кирилл.

По всему было видно, что уж больно хотелось хозяину произвести впечатление. Дескать, и мы не хуже вас, по-городскому живем, и телефончик-то вот фасонный, импортный, не то что у вас, и разговаривать по нему культурно так умеем. Потом Иван Макарович позвонил себе на работу, долго толковал с кем-то о каких-то машинах и комбикормах, а Кирилл тем временем принялся осматривать комнату, узная среди вещей те, которые переехали сюда из бревенчатой ручьевской избы. Там, в избе, им было гораздо просторнее; здесь же они в беспорядке теснились, где только оказывалась ровная

поверхность — на столике рядом с телевизором, на подоконнике, под самым потолком на шифоныре. Отсюда, с приставленной к огромному чемодану, наклеенной на картон известной репродукции из «Огонька» или «Крестьянки» загадочно-надменно смотрела прямо в глаза Кириллу красивая, знакомая с детства «Незнакомка», о которой он недавно случайно узнал, что автор ее — Верин земляк, воронежский, точнее — из местного города Острогожска.

«Незнакомка» была на шифоныре не одна. Справа стоял небольшой гипсовый бюст Ленина — подарок Надежде Савельевне в бытность ее сельской учительницей, а слева, заткнутое краем за картину, красовалось черно-белое фото полководца с орлиным посом и усами, в роскошном кителе с крупными звездами на погонах и лавровыми ветвями на плацканах; полководец этот не был абстракцией и для Кирилла, а уж об Иване Макаровиче нечего и говорить. Под фотографией значилось: «1982», а ниже шли аккуратные столбики чисел. Этот полукустарной выделки портрет-календарь теща приобрел с рук на какой-то станции, бозвращаясь из санатория на побережье Кавказа, куда в видах поправки здоровья однажды силком удалось спровадить его, вконец замотавшего работой, сердобольной Надежде Савельевне.

Помимо трех этих портретов, находившихся на самом верху, безусловно, вне всякой конкуренции, в комнате господствовал стоящий в высокой, синего стекла, узко-горлой вазе на телевизоре свежий, в капельках росы, великолепный букет пахучих, бархатистых, видимо, только что сорванных роз. От них исходил такой густой, ощутимый, перебивающий даже устоявшийся запах антоновских яблок аромат, что у Кирилла опять стала оживать приглушенная сном головная боль, застучало в висках, и он, с усилием сгребивая с себя сонную тяжесть, поспешил подняться.

— Ну, Кирилл Иваныч, как дела? — спросил обрадованный его пробуждением тестя.

— Ничего... голова вот что-то болит, — вздохнул Кирилл, одеваясь.

— Хо, брат, это ерунда! Это мы сейчас! — словно только и дожидаясь момента, встрепенулся Иван Макарович. — Пойдем-ка на кухню.

— А где наши?

— Надька пошла в сарай уток кормить и Вера с цю.

В кухне, как и в комнате, тоже негде было повернуться. Они уселись за маленький, стоящий впритык к подоконнику столик, Иван Макарович подвинул Кириллу огромную сковороду с оставленной для них, не успевшей еще полностью остывть яичницей на сале, отрезал по вищительному куску хлеба и, заговорщически подмигнув, полез в небольшой, кустарной работы шкафчик за «скларством». И тут же лицо его выразило изумление: бутылки на привычном месте не оказалось. Чертыхаясь, он стал рыться во всех отделениях, заглянул в кухонный столик, за дверь, за газовую плиту...

— Ну, Кириш, удручили нам с тобой: бутылек-то того, — доложил тесть. — Это Верка, видать: моя Надька сроду такого не сделает.

Кириллу стало исповко, словно в чем-то провинился, и он, ничего не сказав, лишь махнул с досадой рукой.

— Чепуха, не обращай внимания. Бабы есть бабы. Слыхал? Осина не древесина, коза не скотина, а курица не птица...

Пока они ели все с той же огромной сковороды жареную картошку и яичницу с золотистыми похрустывающими ломтиками сала, закусывая свежими, в острых пупырьшках огурцами, тесть продолжал развивать свою, видать, излюбленную тему.

— Я с жинкой много разговаривать не люблю. Как начнет гундеть, я — за порог, и делу конец. По выходным тоже с утра прямо в гараж — в «козла» с ребятами играть, ну там четверочку разошлем, опо и хорошо. Зато потом к обеду придешь — она борща наварит, увишаться начнет: «Ванечка, Ванечка!»

Кирилл хохотнул. А тесть, по своему обыкновению запивая водой из-под крана, резюмировал:

— Бабы — они сроду так: только с их глаз долой — ждут не дождутся, а будешь рядом торчать — тут же станут гундеть. Знаю я их, чертей!

И действительно, не засиделся Иван Макарович и на этот раз, сказал, что надо в контору, и, подмигнув Кириллу, исчез.

Тут же появились Надежда Савельевна с Верой; в руках у них была провизия — свежие огурцы, морковка, только что взятые в сарае из-под несушек яйца. Лицо тещи так и светилось довольством и счастьем. Впрочем, каким-то чутьем уловив с порога исчезновение Ивана

Макаровича, она принялась клеймить своего «любезного», взвывая при этом к зятю:

— Ну скажи, Кириш, ну куда ж это годится? Вечно вот так — завьет горе веревочкой, а ты сиди, кукуй тут одна!

Жаловалась теща, однако, скорее для порядку, по привычке, благо, было кому.

— Да бог с ним,— махнула она рукой.— Уж какой-никакой, все лучше, чем совсем одинокой жить. Намотается гдей-то, а потом явится, провизии всякой нанесет, а сам все — Надечка, деточка! А другой раз зальет с дружками шары и пошел гавкать, хоть святых выноси. Потом проспится и снова как ни в чем не бывало — Надечка да Надечка...

— И ты каждый раз прощаешь? — спросила Вера.

— А куда ж денешься?

— Давай, давай! — в Верином голосе явственно слышались саркастические нотки.

Со светлого ширпотребовского серванта, чье зеркальное нутро было заставлено неказистой разномастной посудой, вплоть до простых граненых стаканов, теща взяла старую, затрапанную карточную колоду и стала раскладывать пасьянс. Гадала она, как всегда, на своего «любезного», и опять какая-то червонная дама оказывалась у него на пути, заставив тещу привычно чертыхаться и трясти указательным пальцем:

— Ну, погоди, окаянный, все равно вызнаю, что там за краля тебя приворожила!

Видно, не впервые возникала в гаданьях настырная червонная дама. Отшвырнув в сторону упрямую колоду, Надежда Савельевна надела очки со сломанной, перетянутой медной проволокой дужкой, достала из-под телевизора толстую потрепанную тетрадь и безо всяко-го уведомления начала читать вслух не связанные друг с другом записи — разного рода курьезные факты, почерпнутые из телепередач, которые она могла смотреть часами. Было там из серии о долгожителях, имевших какое-то невероятное количество жен, детей, внуков и правнуков, и еще всякая всячина, бог знает почему привлекшая ее внимание и удостоившаяся увековечения в тетради.

Кирилл с Верой из вежливости продолжали слушать. Теща изредка взглядала на них, и тогда они, чтобы потрафить ей, с притворным удивлением округляли глаза, покачивали головами, а между делом разглядывали

корешки двух-трех десятков книг, вплотную стоящих на этажерке. Это сплошь были военные мемуары — из всей литературы Иван Макарович признавал только их, — и среди винцительных, серых томов выделялась светлая книжка с надписью на корешке: «Г. Мало. Без семьи». Эту книжку Вера полюбила еще в детстве, не единожды рассказывала об этом Кириллу, а он все собирался, да так и не удосужился до сих пор прочитать. Других не военных книг больше нигде не было: теще, видимо, вполне хватало «Работницы» и «Крестьянки», запыленные кипы их тоже лежали на этажерке и просто валялись на полу.

Надежда Савельевна, уверенная в уникальности своих познаний, намеревалась, видно, дочитать тетрадь до конца, но вдруг дверь распахнулась, в комнату вошла могутная, крепко сбитая толстуха и, не обращая внимания на хозяйкиных гостей, вроде бы даже не замечавшая их, с жаром выпалила:

— Все! Завтра — в райком! Все расскажу про своего благоверного!

Только тут она увидела Веру с Кириллом, кивнула здрасьте — и, ничуть не смущившись, с прежней силой повторила:

— Все, Савельевна! Хватит! Решилася! Сил моих больше нету!

— Да чего там опять стряслось-то? — спросила раздосадованная неожиданной помехой теща.

— Так чего? Значит, подхожу это я к конторе, прянему под окошко, слышу, а он-то, кобель, как раз сладко по телефону мурлычет: «Валечка! Валюша! Небось, аж гляделки свои бесстыжие от радости закатил. Ну, погоди, проклятый, ты у меня еще попляшишь! Ты у меня еще помурлыкаешь! — в злобном восторге послушала она, для пущей убедительности так рохнув по столу своим не по-бабы дюжим кулаком, что Кирилл с Верой переглянулись и тут же отвели друг от друга глаза, изо всех сил стараясь не рассмеяться и охранить на лицах соответствующее драматическому моменту выражение.

— Нет, ты только погляди на него! — с новой силой ринялась клеймить неверного мужа толстуха. — Да хотя бы на кого другого позарился, а то на эту косую уродину! Ну, ничего, скоро она у меня еще красивше ста-

нет — мало с нее что косая, так будет вдобавок и рябая в полосочку!

— Погоди, Глаша, ты чёвой-то еще там задумала? — насторожилась Надежда Савельевна.

Вместо ответа она, покопавшись в своей тугой набитой авоське, извлекла пузатый флакон и протянула теще:

— Вот, специально в раймаг съездила!

Глаза тещи округлились: на флаконе крупными буквами значилось — «Серная кислота».

— Да ты что, сдурула? Под суд же попадешь! — всплеснула теща руками.

— Ну и пусть. Плесну ей в рожу, будет знать, змея, как с чужими мужьями путаться!

— Погоди, Глафира, охолонь малость, одумайся!

— Ладно, посмотрим, — неопределенно пообещала она, пряча флакон в сумку. — Все равно, завтра к прокурору поеду.

— Так ты ведь в райком, вроде, собралась?

— И в райком, и к прокурору — куда угодно, пусть не думает, что опять ему так сойдет!

Выпалив это, толстуха направилась к двери и, не прощавшись, исчезла столь же стремительно, как и появилась.

— Вот, всегда она эдак, — сказала Надежда Савельевна. — Стоит только мужику забузить, сразу прибежит, душу отводит. А когда все спокойно, сроду не вспомнит, не заглянет.

И тут теща поведала историю, из которой Кирилл с Верой узнали, что толстуха — жена председателя рабкоопа Рюхина, сама работает прорабшей, и муженек ее в самом деле не промах по женской части, и об этом знает не только Глафира, а, считай, весь совхоз.

— И что же теперь будет? — спросила Вера.

— А ничего. Пошумят-пошумят и уймутся.

— А кислота?

— Да это так, для виду только — мужика припугнуть. Не такая уж она дура, чтобы в тюрьму садиться.

Напрасно, что ли, жаловалась Надежда Савельевна на одиночество, или день выдался нетипичный, только не успела скрыться жаждущая мести ревнивая прорабша, как в прихожую без стука ввалилось целое семейство: нагрянули из города сестра Ивана Макаровича Фрося с мужем и двумя сыновьями-погодками. Фросю, такую же, как тесть, худощавую и длиннолицую, Кирилл

узнал сразу. Он видел ее в Ручьевке, когда она еще школьницей жила в доме деда Макара. Светлоголовых Фросинных ребяташек Надежда Савельевна тут же угостила конфетами и повела показать уток, так что Шумилювым пришлось самим занимать гостей. Разговор налаживался с трудом. Вера с Фросей когда-то босоногими девчонками вместе бегали по пыльным ручьевским улицам, и им было что вспомнить, но теперь они чувствовали себя скованно, не зная, что сказать. Фрося не догадалась даже представить своего мужа. Когда Кирилл сам, назвавшись, протянул ей руку, тот вяло поклонил ей и не очень-то приветливо буркнул:

— Виктор.

И тут вдруг вышел конфуз. Чтобы подключить гостя к беседе, Кирилл поинтересовался, на какой они улице живут, и в ответ неожиданно услышал:

— Я в Сочах живу, рядом с Курортным проспектом.

«Как — в Сочи?» — хотел было спросить Кирилл, но задержался, заметив, как покраснела и отвернула глаза Фрося.

Кирилл замолк. Ему с первой минуты был чем-то не приятен этот угрюмый, себе на уме, парень, похожий на кудлатого шведа из ансамбля «АББА». Вере тоже стало неловко, она вопросительно взглянула на Фрося, но та продолжала молчать, в смущении теребя на коленях краешек скатерти.

К счастью, в этот момент паконец появилась Надежда Савельевна. Она вся была в перьях: принесла только что ощипанную в сарае по случаю приезда горячую утку.

Сейчас мы ее, голубушку, зажарим с картошечкой, — сказала она, — а пока перекусим чем бог послал.

Фрося, пойди-ка позови ребяташек. На столе появилась неизменная деревенская еда — картошка в мундире, огурцы, помидоры, головки чеснока. В центре теща поставила большую криничку молока, а компания дружно — в тесноте, да не в обиде — съелись за еду. Только Виктор не подсел к столу, беззаботно перелистывая какой-то старый, потрепанный журнал.

Э, а ты чего? С осени закормленный, что ли? — Фрося, задетая Надежда Савельевна. Ее обида была яркая и искала выхода. Не зря говорится — муж и жена одна сатана: кое-что раздражало тещу и во Фрост — остой деревенской девчонке, ставшей теперь завяз-

той горожанкой. Работала она поварихой в столовой и, как видно, пользовалась почетом в ближайших парфюмерно-галантерейных и прочих торговых кругах.

— Ты, Фролька, так ярко губы не крась! Не люблю я этого,— с нажимом сказала вдруг Надежда Савельевна.

— А что? Влюбится, что ли, кто?— деланно засмеявшись, передернула та плечами.

— Не люблю, и все тут. По мне, чем проще, тем для здоровья полезнее. Тут у нас модницы понакупили в городе париков, чуть не по целой зарплате угрожали, а мода вышла — стали предлагать: купите, дескать, Надежда Савельевна, за десятку. Да мне, говорю, этого добра и даром не надо. Куда мне в нем — в сарай к уткам ходить, чтоб те со страху окочурились? Ладно... Ну-ка, архаровцы, чего приуныли? Попейте-ка вот да бегите на волю, порезвитесь,— сказала теща ребятам, наливая каждому из кринки по большой жестяной кружке густого пахучего молока.

Тут Виктор поднялся:

— Не-е, теть Надь, мы потопали. Нам еще час в душегубке трястись.

— Ну, езжайте, коли приспичило. Насилу мил не будешь.

Теща наполнила две сумки отборными яблоками — Фролинным ребятишкам, и Вера пошла проводить гостей.

Кирилл остался, сказав, что хочет помочь Надежде Савельевне по хозяйству.

Только тут она дала волю эмоциям:

— Нет, ты погляди — угощеньем побрезговал! Ишь ты, чертов прохиндей: «Бедным бы водочки...» Это Фролька-дурочка все терпит, а я бы тебе показала, где раки зимуют!

— А почему он сказал, будто живет в Сочи?— спросил Кирилл.

— Так у него, паразита, мать там, дом свой возле моря, сад и все такое. Вот он туда и сиганул.

— А Фролька с ребятишками как же?

— Да так: бросил он их, бесстыжий. Она сама год назад приезжала, слезами горючими обливалась — аж краска по щекам текла. Ведь он что, паразит, удумал! Дождался отпуска — а работал-то ни шатко ни валко, знай только с места на место переметывался,— и говорит — съезжу, дескать, на месяц к матери. А уж возле самолета, нуда, возьми да ляпни Фрольке: мол, все —

больше не жди, мы с тобою не пара. Видал?! Не пара!  
Вроде и двух сыновей не нажил, окаянный!

— А теперь опять, что ли, сошлись? — ничего не мог  
понять Кирилл.

— А шут их разберет. Вишь, в Сочах живу, говорят.  
И чего его Фроська не гонит, на что, дура, надеется?

— Ради ребят, наверно, чтоб без отца не остались, —  
сказал Кирилл.

— Да уж лучше без отца, чем с этаким-то бродя-  
чим. А злющий-то он какой — хуже пса цепного. Знаешь,  
Кириуша, что дед Макар мне рассказывал? Приехали  
они однажды с Фроськой в Ручьевку. Сели на бревнах  
у ворот — отдохнуть, а тут котенок играл, ну и поцарапа-  
пал малость дурню руку. Он как швырнет котенка, а  
тот — шмыг под бревна, и сидит там, затаялся. Так —  
веришь? — полдня продежурил не сходя с места, все  
котенка подкарауливал, а когда тот выскоцил на волю,  
ка-ак хватит его поленом! Прибил, изверг, только мок-  
рое место осталось. Дед сказал тогда ей: «Ну, Фрось-  
ка, подцепила ты муженька!»

— Да-а, ничего себе! — покачал головой Кирилл.

— Раз он спрашивает меня про Макарыча, как вы,  
дескать, с таким баламутом живете? А я и говорю: ка-  
кой <sup>ши</sup> есть, да вот неродную дочь воспитал, а ты удрал  
от своих собственных. Так что лучше помалкивай. С тех  
пор он хвост-то поджал.

За беседой они незаметно пачистили целую гору кар-  
тошки, и Надежда Савельевна обложила ею шипящую,  
подрумянившуюся, сочащуюся золотыми капельками  
жира утку в огромной чугунной утятнице.

Прихожая снова наполнилась гомоном. Первым на  
пороге появился Иван Макарович с огромным букетом  
роз, за <sup>занятым</sup> вернутым в газету.

— Ну. Ва-анька! — не то одобрительно, не то с уко-  
ризной протянула теща, а Иван Макарович торжествен-  
но — <sup>занятым</sup> здравий наших! — протянул цветы зятю:

— Держи, Кирилл Иваныч.  
— Ого! — удивился Кирилл, ощущив тяжесть даже  
газету колющего ладонь букета.

— Наша, совхозные — перед Домом культуры ра-  
сквозь объяснил тесть. — Только я один здесь и могу их  
струт.

— А в газетку-то на всякий случай завернул, — поду-  
рваты. «А Кирилл и улыбнулся.  
мал Кирилл вообще цветы уважаю! — продолжал поднимать

свои акции тещь.— И еще -- книги. Дураки -- которые книги сбываю! Я их никогда не продаю. Пускай себе лежат — они ведь есть не просят!

Такой неожиданный поворот рассмешил Кирилла.

— Нет, правда уважаю,— повторил тещь без обиды.— Особенно Жукова, Конева... Сила!

Тем временем Надежда Савельевна с Верой накрыли на стол.

— Просил все выпить Фросякин-то, а я не дала, — сказала Надежда Савельевна.

— И правильно,— одобрил Иван Макарович.— Помнишь, как он нас тогда в Ручьевке опозорил? Гуляли мы раз там у соседей на свадьбе. Народу полно, водки на всех не напасешься,— хозяева и пустили в ход самогон. Ну, все пьют за милую душу, веселятся, а этот, хмырь-то Фросякин, нос вздумал воротить: самогон, говорит, дюже вредный, мне, говорит, водочки подать извольте. Ах, думаю, сукин ты сын! Схватил его за шкирку — да в погреб. Будешь знать, паразит, как добрых людей позорить. Боится меня с тех пор. Виши, и нынче поскорее удрал, покуда я с работы не веротился. Ну, да ладно, бог с ним,— махнул рукой Иван Макарович.

Вера метнула быстрый взгляд на Кирилла, но ему почему-то не хотелось слушаться в этот вечер. Тут Вера сказала, что хочет перед сном погулять. Намек был яснее ясного, но и теперь Кирилл сделал вид, что не понял. Тогда Вера, еще раз искоса, брезгливо посмотрев на него, вышла с Аркадием и Мишой на улицу. Отправившись вслед за нею и теща.

— Баба с возу — кобыле легче,— подмигнув, прокомментировал Иван Макарович и, смешно округлив губы, затянулся:

Гармонь певучая-а  
Меня замучала-а.  
И в дальней стороне-е  
Покоя нету мне...

Песню эту слышал Кирилл от тестя еще бог знает когда — в Ручьевке, отчего-то стало теперь от этих простых слов в одно и то же время и грустно, и весело.

— Макарыч, а спой-ка частушки,— заранее предвкушая удовольствие, с улыбкой попросил Кирилл. Они тоже помнились ему, забавляя своей архаичностью.

Иван Макарович, не заставляя себя долго уговаривать — душа его и сама просила того же,— запел:

Эх, яблочко,  
С боку зелено.  
Нам не надо попа —  
Надо Ленина.

И — следом, подгустив голос:

Дорогой товарищ Сталин,  
Я стахановка сейчас.  
Много есть парней хороших  
И стахановок у нас.

Почему эти безнадежно устаревшие частушки, которые не меньше чем полвека никто уже не помнит и не поет, так полюбились Ивану Макаровичу, оставалось загадкой.

На другой день тещь, как обычно, чуть свет убежала в контору, а Надежда Савельевна после завтрака решила показать родные поселок. Началась прогулка с поросшим конотопом и мелкой российской ромашкой школьного стадиона, где привольно паслись стад гусей, опекаемые бдительными, надменными гусаками. Когда кто-нибудь к ним приближался, они угрожающе вытягивали шеи и громко шипели, готовые в любой момент ринуться в атаку. Компанию гусиным выводкам составляли несколько мирно пощипывающих травку коз, привязанных за ногу к вбитым в землю колышкам.

По тропинке, наискосок пересекающей стадион, подошли к совхозной школе — двухэтажной, похожей на ту, в которой когда-то учительствовал Кирилл. Но и его, и Веру поразил большой пришкольный участок, почти весь занятый цветной капустой. Ну, там картошка, помидоры, огурцы — это было бы само собой, но цветная капуста! И росла она на виду у всех, без всякого сторожевого присмотра.

— И как же — не воруют? — спросил Кирилл.

— Да кому она нужна? — удивилась Надежда Савельевна. — У нас ее почти никто не ест, и цены ей не знают.

— А зачем же посадили?

— Как зачем? Совхоз-то образцово-показательный. Делегации разные едут, бывают и иностранцы. Да у нас один откормочный комплекс — семьдесят тысяч свиней, целый город кормим. У нас даже Фидель Кастро был — по шоссе через поселок проезжал. Погодите, вы еще не то увидите!

Чинно, как гусыня, шествуя впереди, теща повела

Шумиловых по главной, асфальтированной улице к центру.

— Это здесь Фидель Кастро проезжал? — спросил Кирилл.

— И не только проезжал — останавливался и даже в «Океан» заглядывал.

Вскоре они оказались возле того самого аквариума, который видели ночью, сворачивая с шоссе в проулок.

— Вот он и есть — наш «Океан», — Надежда Савельевна остановилась с видом экскурсовода, выбравшего наиболее подходящую для осмотра позицию.

Среди заурядных, неказистых домишек за палисадниками сверкающий на солнце прямоугольник выглядел в самом деле эффектно. Всю его боковую стену занимал витраж, в ажурных хитросплетениях которого не сразу угадывался силуэт огромной рыбы, притаившейся в морских водорослях.

— Да-а-а! — будто сговорившись, в унисон протянули Кирилл с Верой. И Надежда Савельевна, довольная произведенным эффектом, доложила:

— За одну только эту железную рыбину две с половиной тыщи отгрохали!

— Здрасте, Надежда Савельевна! — звонко поприветствовали появившуюся на пороге тещу молоденькие работницы, коротавшие за болтовней время ввиду отсутствия покупателей. Одна из них восседала в белоснежной кабинке за элегантным, сияющим никелем кассовым аппаратом.

— Здрасте, здрасте, красавицы! Что, все скучаете?

— А что нам еще делать? — без особого уныния, скорее даже весело прощебетала курносенькая кассирша.

Надежда Савельевна понимающе закивала.

Кроме столь же белоснежных, что и касса, никелированных прилавков с эмблемой итальянской фирмы, сплошь заполненных рядами обыкновеннейших консервных банок, в магазине ничего ровным счетом не было.

— Вот дочка с зятем приехали, — сказала Надежда Савельевна девчонкам.

Видимо, приняв это за памек, девицы сокрушенно развели руками: дескать, все на витрине, больше ничем порадовать не можем.

— Ну, ладно, скучайте дальше, — пожелала им разославшая теща. А когда вышли на улицу, стала пушить заведение на чем свет стоит.

— Знаете, как у нас про этот «Океан» говорят? Килька в томате да две девки в халате.

Вера и Кирилл рассмеялись: ждали чего-то необыкновенного, а кончилось все так просто.

— Да у них сроду в магазине ничего не найдешь,— продолжала в сердцах Надежда Савельевна.— Видите, двор забором огорожен? Смекнули теперь, куда рыбка уплывает? Глядишь, перед праздником, а то вдруг просто средь недели «Волги» с белыми занавесками к воротам понаедут и давай пихать по багажникам свертки да ящики, набают поскорей под завязку и — фр-р-р! — только их и видели. Все культурно — шито-крыто. А в магазин заглянешь — та же картина: кильки в банках — бери не хочу!

— А чьи же это машины? — наивно спросила Вера.

— Известно чьи. Из города. И свои, конечно, районные — начальства везде хватает. А уж откуда они претовар узнают, одному богу ведомо.

— Наверное, связь у них хорошо работает, — засмеялся Кирилл.

— Так это уж само собой, — согласилась Надежда Савельевна.— Не зря у них телефоны прямо в машинах поставлены. Да только и люди не дураки — все сквозь видят, занавесками от них не очень-то отгородишься. Когда «Океан» только открылся, велели на нем лозунг повесить — «Бери пример с передовиков!» Петька Чурилов — киномеханик, лучший наш художник — постарался, буковка в буковке надпись изобразил, рамочкой обвел и сам над дверью приладил. Ну, парод приметил это дело и тут же скумекал, что к чему. И вот, часом, возвращаются домой доярки с фермы, идут мимо, а тут в аккурат машины те самые у задних ворот дежурят. Одна доярка, что побойчее на язык, и скажет другой, да еще нарочно погромче: «Манька, глянь, а чевой-то мы с тобой пример с передовиков не берем? Че мы — рыжие?!» А бабы возле магазина услышат и давай ржать на всю округу. Так лозунг-то быстренько сняли — теперь на Доме культуры красуется.

...Вечером, за ужином, под назойливый шум и мельтешение кадров на экране многотернилового, часами не останавливающего «Рекорда» Шумиловы с удовольствием уплетали с вареной картошкой показавшегося невероятно вкусным сущеного леща. Ради родин тесть рассталася и достал где-то редкий деликатес. Но где достал,

Шумиловы так и не узнали. Раскрывать свои секреты старый разведчик Иван Макарович не любил.

Дни гостевания тянулись довольно однообразно. По утрам тестя все так же чуть свет исчезал, а теща за непременной утренней яичницей с картошкой со всеми подробностями рассказывала виденные накануне сны, без конца сокрушалась о том, как далеко живут они друг от друга, вспоминала разные житейские истории, и был в них, этих историях, непременно налет некой тайны, что, по мнению Надежды Савельевны, и делало их дойстайными внимания слушателей. Среди любимых ее устных новелл был и рассказ об одной древней ручьевской бабушке, темной и неграмотной, по владевшей чудодейственною силой исцеления всяческих недугов.

— Нет, все же есть чего-то такое в жизни,— начинала теща.— Вот наука — дело, конечно, хорошее, а... Ну, вот смотрите. Случилась со мной такая оказия — ни с того ни с сего локоть вдруг вспух, запылал: пары. Да и вся огнем горю, температура под сорок, хоть ложись да помирай. А дело осенью, на дворе грязища, развес что трактором выберешься-то из Ручьевки. Что тут делать? Макарыч хотел все же в город меня в больницу везти, а я ему свое — зови, мол, бабушку Полю. Приходит бабушка, села у меня в изголовье и давай что-то наговаривать. Я-то сквозь жар слов не разберу, а только чую, складно она этак наговаривает, приятно. И вот заснула я под тихий бабушкин заговор и спала аж восемнадцать часов! Потом просыпаюсь и — хотите верьте, хотите нет — все как рукой сняло! А повези меня Макарыч в город к хирургу, может, и все, хана — осталась бы калекой, а то и вовсе бы окочурилась. Так что не говорите, есть в жизни что-то такое, есть! Да ежели поворошить...

— Лучше не надо,— просила Вера. Она с проницательностью относилась к подобным матушкиным сказаниям, на что та обижалась, хотя старалась при зяте не показывать виду.

Потом Шумиловы отправлялись на прогулку и не раз обошли весь поселок. А когда все здесь — улицы и домишкы, козы и гуси на школьном стадионе, портреты передовиков на Доске почёта возле совхозной конторы — когда все это основательно примелькалось, Кирилл с Верой поехали утренним автобусом в город. В их рас-

поряжении до последнего вечернего рейса был почти весь день, и они, выйдя на конечной остановке, заглянули на рынок, заполненный непраздным утренним народом, послонялись по гулкому крытому павильону, по-глазели на товар и на цены, на продавцов, в массе своей неброских с виду россиян, среди которых резко выделялась своим солидным, колоритным обличьем загорелая приезжая братия, фундаментально стоящая за прилавками возле красочных, хоть картину пиши, горок набухших соком гранатов, крупных, оранжевобоких, покрытых пежным пушком персиков, ровного — орешек к орешку — коричневого фундука и прочих не менее примечательных плодов благодатной кавказской земли. Рынок как рынок, все они в общих чертах похожи друг на друга. Везде есть свои заезжие торговцы, да еще и поживописные — в пестрых тюбетейках и длинных, до пят, подгоясанных кушаками ватных халатах; только у них и покупают дома Шумиловы дорогие, столь полезные для здоровья грецкие орехи, сладкий урюк, курагу и изюм.

Наслаждаясь полной свободой, они беспечным, прогулочным шагом пошли по одной из расходящихся радиусом от рынка улиц. На ней тоже не было ничего примечательного, если не считать вывешенных над тротуаром транспарантов, которые извещали, что с такого-то по такое-то число «в городе проводится общественный смотр работы гострудсберкасс». Вере и Кириллу стало весело: уж до чего иного, а до сберкасс им не было сейчас вовсе никакого дела. Вскоре путь преградила широкая канава с уложенными по дну бетонными трубами. На тротуаре через канаву был переброшен не внушающий доверия узенький, в две доски, предательски прогибающийся под тяжестью пешеходов мостик. Дурачясь, они разыграли, подбросив монету, кому идти первому, — это выпало Vere, но Кирилл, нарушив условие, опередил ее, затем со смехом вернулся к ней и провел ее по пружинящим доскам за руку. Благополучно преодолев препятствие, они решили свернуть с этой грязноватой, малопривлекательной улицы, юркнули в какой-то зажатый высокими домами переулок и, не прошло четверти часа, как вышли на просторную магистраль — проспект Революции. Их тут же подхватила, зарядила своей энергией пестрая, непрерывно текущая по широкому тротуару бодрая, молодая, светлоголовая и голубоглазая толпа, в которой передко — контрастом — возникали черные и смуглые сияющие ослепительными белозубыми улыбками

лица — в городе, видно, было немало иностранных студентов.

Влекомые оживленной толпой, они не заметили, как очутились перед внушительных размеров памятником поэту Кольцову на массивном постаменте из серого гранита. Здесь, у этого монумента, обрамленного трогательно склонившимися к камню нежными ветвями плачущих ив и ветел, вечно спешащая толпа сама собой, повинуясь какой-то невидимой, загадочной силе, успокаивалась, смиряла свой бег и распадалась на отдельные группы. Памятник стоял в начале небольшого уютного сквера. Порядком уставшие Шумиловы с удовольствием сели на длинную серебристую скамью и, как мог бы выразиться старинный романист, предались созерцанию. Каждый думал о своем. Вере, впервые увидевшей памятник еще маленькой девочонкой с косичками, он показался теперь не таким величественным, как прежде. А Кириллу отчетливо, вплоть до болотного цвета обложки и рисованых букв заголовка припомнилась старая, сороковых годов издания книжка кольцовских стихов, купленная в ту пору отцом, и стало ему вдруг грустно и жалко чего-то или кого-то, а чего или кого — он сам не мог этого толком понять...

Они снова двинулись по проспекту, и опять — без определенной цели, если не считать таковой простое коротание времени. И эта возможность брести беспечно, куда глаза глядят, веселила душу, наполняла ощущением жизни, молодости, ожиданием новых впечатлений и открытий. И, поддаваясь этому беспечному настроению, Вера, игриво капризничая, как когда-то еще до замужества, когда Кирилл, глупея от счастья, возил ей из города огромные букеты самых дорогих цветов, вдруг потребовала эскимо, и тут как по заказу появился киоск, и Кирилл поспешил выполнить Верину прихоть, спросив сразу три порции желанного мороженого, какое не покупал давно-давно, наверное, с той самой, неповторимой, той невозвратной весенней поры.

Из сквера, где они посидели, с удовольствием смакуя вкусное, полуза�отое ими эскимо, на крыше одного из домов виднелась надпись — кинотеатр «Луч». Где еще лучше провести оставшееся время, дать отдых усталым ногам! Кирилл с Верой поспешили туда, узнали в кассе, что сеанс начинается через десять минут, купили билеты и сразу же направились в зал. Он был полупустым; зрители, в основном школьники и пенсионеры, сидели

тут и там маленькими группами или поодиночке. Шумиловы прошли в середину своего любимого предпоследнего ряда, совершившего пустого. Лишь когда уже погас свет и начался киножурнал, рядом расселась стайка заыхавшихся парней, сбежавших с уроков из какой-нибудь окрестной школы.

Фильм оказался из тех, какие обычно относят к типичным образцам безыдейной западной кинопродукции — с погонями, облавами, ковбоями, стрельбой и, разумеется, приторно-счастливым концом. Выйди на улицу, по инерции посмеялись над глуповатым хеппи-эндом и тут же благополучно забыли и саму картину, и ее название. Как ни красочны и экзотичны были там роскошные заокеанские пейзажи, после них почему-то еще ближе и милее показались Кириллу и Вере небольшой тихий сквер, куда они вышли после сеанса, и обсаженный старыми липами бульвар, и даже все тот же растянутый над ним, с утра еще примелькавшийся транспарант об общественном смотре работы городских сберегательных касс...

— Слушай, Ванька, ну что ты только за человек?!" — среди мирного вечернего разговора голос Надежды Савельевны вдруг вскипает.

Тесть вопросительно взметывает брови.

— Да ведь сентябрь уже на носу. Стыдно от людей. Нешто не видишь — соседи вон вовсю картошку копают, саран уже мешками понабили. Только у нас все еще шаром покати. Чтоб завтра же отпросился у Виктора Палыча!

Приказной тон задевает Ивана Макаровича.

— Ага. Сейчас. Утром! — бросает он свою коронную саркастическую фразу. Знаю, мол, сам, не учи ученого.

Картошку в самом деле пора копать. Неровен час, зарядят дожди, тогда с нею намаешься. Тесть, конечно, тоже отлично это понимает и огрызается просто по привычке, для поддержания мужского своего престижа.

Теша немедленно приступила к делу: принесла из сарая лопаты, мешки, моток шнура для завязок, затем стала готовить снедь, чтобы завтра взять с собою в погоне. По этим хлопотам чувствовалось, что работа предстоит нешуточная. Вере она была знакома с детства, а вот Кириллу иметь дело с картошкой приходилось в основном на базаре. Правда, раз в жизни, еще студентом,

на целние несколько дней трудился он на совхозном поле,— оббирал клубни, вывороченные картофелеуборочным комбайном. Тогда было не ахи как трудно: зпай отрывай картофелины да наполняй очередной ящик. А тут тебе не комбайн — обыкновенная лопата. «Когда я в последний раз лопату держал?»— думая о предстоящем дне, силился вспомнить Кирилл и не мог. Спать улеглись в этот вечер раньше обычного, но, как бывало перед экзаменом или каким-нибудь другим важным событием, сон долго не приходил к Кириллу, и он снова почти полночи промаялся, ворочаясь с боку на бок под храп Ивана Макаровича и усиленный почти космической сельской тишиной грохот на кухне трудяги «Саратова»...

...Вековечная крестьянская работа. И ходьбы-то все-го полчаса от крайней улицы поселка, застроенной одноковыми коттеджами с шестами антени над крытыми шифером крышами. А тут — пыль да солнце, да облака, да ветер, которому нет на этой неоглядной равнине укорота, нет ни больших, ни малых преград. Вот и озорует он здесь вволю, треплет бабы платки и косынки, воршил длинные плети убранной фасоли, посаженной по межам, отделяющим одно картофельное поле от другого.

Вот от такой поперечной межи и начали Иван Макарович с Кириллом вскапывать свой огромный, вытянутый в длину участок. Мужчины копали, а Надежда Савельевна с Верой обрывали картофелины и бросали их в кучу. Не зря Кирилл с опаской думал вчера о предстоящей работе. Кому же еще, как не им с тестем, брать на себя самую трудную ее часть. Но для тестя это дело привычное, а тут... Однако не станешь же сетовать на свое неумение: взялся за гуж, не говори, что не дюж...

Опасения оказались не напрасными. Тестя уверенно вонзил лопату в грядку, ловко, одним махом переворачивая тяжелые пласти и извлекая на свет божий все новые, кучные, радующие душу россыпи первозданно белеющей на мягким черном лоне кручиной, продолговатой российской кормилицы-картошки. Сборщики не успевали за Иваном Макаровичем, и он ушел далеко вперед. Кирилл тоже старался копать побыстрее, но сразу же поплатился за суetu тем, что в спешке рассек несколько больших, отборных клубней. При всем уважении к зятю, Надежда Савельевна не смогла простить столь серьезных ограхов.

— Э-э, Кирюша,— протянула она,— этак можно всю

картошку попортить. Ты слишком близко к кусту ко-  
наешь, а надо, смотри-ка, вот так.

И теща, взяв у него лопату, принялась окапывать ближайший куст. Кириллу стало обидно и неловко. «Хорошо,— подумал он,— что чужих нет никого поблизости, а то не хватало бы еще такого позора!» Все же, заставив себя смирить обиду, сказал:

— Ладно, Надежда Савельевна, теперь будет порядок.

Работа пошла помедленней, зато и поврежденных лопатой картофелин больше почти не попадалось. От непрерывного одинообразного рытья стала ныть спина, распалились натертые гладким черенком ладони, прилипла к телу взмокшая от пота рубашка. Кирилл расстегнул ворот, подставив грудь прохладному, заметно посвежевшему ветру.

Кирилл вспомнил про донимавший его дома летний насморк — недуг, которым с давних пор страдала женская половина семьи, особенно бабушка, каждое лето беспрестанно чихавшая и не успевавшая менять лоскутки от старой простыни, которые заменяли ей носовые платки. Бабушка почему-то называла этот изнуряющий насморк сенным. Длился он около трех самых тяжелых, знойных, безветренных месяцев, когда и без насморка ей, волжанке, приходилось тяжко. За свою жизнь она так и не смогла привыкнуть к суши и духоте азиатского лета. Сенной насморк допекал и мать Кирилла, но его самого бог миловал. И вот, по какому-то странному стечению обстоятельств, именно нынче, впервые за сорок Кирилловых лет, традиционный семейный недуг одолел и его. Вместе с Верой они порылись в «Медицинской энциклопедии» и нашли там его в разделе аллергических заболеваний. В статье говорилось, что причиной может послужить запах отдельных цветов, растений и трав. Так вот почему бабушка называла насморк сенным! Хотя удивительно, откуда могли взяться эти запахи, когда в городе, считай, не осталось и клочка природной, не покрытой асфальтом земли. А тут, в поле,— упругий ветер врывается за распахнутый ворот взмокшей от пота рубашки, холодит разгоряченное работой тело, и — хоть бы что. И вообще, похоже, странный этот летний насморк отстал от Кирилла так же внезапно, как и начался,— в тот момент, когда самолет оторвался от взлетной полосы и родной, утонувший в белесом зноном мареве

город словно поплыл куда-то вдаль, скрываясь за лиловатой подковой гор.

К обеду, вскопав с четверть участка, решили устроить перерыв, чтобы поесть и отдохнуть. Собственно, тут нечего было и решать: этого требовал неписаный крестьянский закон, и, подчиняясь ему, здесь и там работающие в поле люди оставили лопаты и уселись группками возле заменяющих скатерти расстеленных на земле бабьих платков с простой, но сытной снедью. Вот и Надежда Савельевна степенно, без суеты принялась за дело: прежде всего достала из большой хозяйственной сумки две кринки с молоком и домашним хлебным квасом, а потом — и припасенную еще с вечера еду. И здесь, на вольном ветру, все это показалось необыкновенно вкусным: и не ахти какой свежий, казенной выпечки хлеб, и огурцы, и яйца, и даже куски изрядно приевшейся жареной утятинки.

Но — недолгий крестьянской отдых. Вон, пообедав, снова взялись за работу люди — замелькали поодаль разноцветные рубахи и платки. Иван Макарович, завершив трапезу неизменной сигаретой, старательно притоптал ее каблуком, растер еще для надежности и решительно поднялся: пора.

К вечеру выкопали ровно половину. Но, как ни ломило тело от усталости, уходить с поля было нельзя. Предстояло еще убрать картошку в мешки, но это, слава богу, оказалось не таким уж трудным делом. Кому не отрадно видеть плоды трудов своих! По вечерней прохладе дружно и споро наполнили один за другим двадцать больших, надежных, из грубой серой холстины мешков и составили их один к одному.

— А на чем же повезем? — удивился Кирилл.

— Сидите пока, отдыхайте, — распорядился вместо ответа Иван Макарович и как всегда решительно зашагал прочь по проселочной дороге.

— Куда это он? — удивился Кирилл.

— Да за машиной, — сказала Надежда Савельевна.

— А где он ее найдет? — спросила Вера.

— Да прямо на дороге. Остановит любую — попросит. Расчет у нас кругом простой — пол-литра, и все дела.

И действительно, вскоре загустевшую синеву сумерек на дороге со стороны поселка прорезали желтоватые лучи автомобильных фар. Натужно урча и погрохавшая бортами, свернув с дороги, подъехал по вскопан-

ным грядам грузовик и остановился прямо возле мешков. Иван Макарович вместе с плотным, широкоплечим шофером стали забрасывать мешки в кузов, а Кирилл с Верой подправляли их там, оттаскивали волоком от заднего борта, чтобы освободить место для следующих.

Домой приехали уже в полной темноте, с помощью того же шофера сгрузили мешки и затащили в сарай. Только после этого благоприобретенный помощник сел в кабину и завел мотор. Как с ним рассчитывался тестя, Кирилл не видел: скорее всего, они по-свойски оставили неизменный этот расчет на потом.

Весь следующий день снова всем кагалом дотемна трудились на поле. Спешили: после обеда небо заволокли тучи. Подбирали только крупные картофелины, мелочь оставалась на земле, с ней просто не хотели возваться. Впрочем, так же было и вчера, чему Кирилл очень удивился: дома такая картошка, которой здесь пренебрегали, а то и еще помельче, вовсю продавалась в ларьках, ее закупали на зиму мешками, и за нею приходилось стоять в очередях. Никто не считал тут за ценность и фасоль, оставалась она необоборанной, и при желании можно было бы нарвать ее сколько угодно. Но недаром говорится: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз.

В сумерках наполнили последний мешок. Как и вчера, было их ровно двадцать. Снова Иван Макарович подогнал первую попавшуюся машину, и вся процедура повторилась с точностью до деталей. Только шофер на этот раз был высок и худощав и очень похож на Ивана Макаровича. Само собою, прежним был и расчет.

Продолжение картофельной эпопеи оказалось таким же неожиданным и сумбурным, как и характер Ивана Макаровича. События развернулись через день после работы в поле, когда и Надежда Савельевна, и Кирилл с Верой не успели еще как следует отдохнуть и прийти в себя. Теща накануне почти не вставала с дивана: лихое молодечество в поле, где она, забыв про возраст и недуги, наравне с тестем ворочала многопудовые мешки, не прошло ей даром. Но утром сразу после стремительного, как всегда, исчезновения Ивана Макаровича, она пересекла себя и пошла в сарай покормить уток. Следом направились и Шумиловы. В сарае негде было повернуться от мешков, и это радовало сердце Надежды

Савельевны. Одно омрачало — невозможность поделиться добром с родичами.

— Эх,— сокрушенно вздыхала она,— кабы жили вы поближе! Уж мы бы вам всего — и картошечки, и помидор соленых, и огурчиков, и морковки. У вас-то ведь там за каждую травинку на базаре платят!

— Ничего,— успокаивала Вера,— проживем. А у вас тут зима долгая, все подберет.

— Да оно верно, конечно,— соглашалась теща и опять вздыхала.— А все-таки жили бы поближе!..

После обеда Кирилл вызвался отнести уткам корм. Подошел к сараю и замешкался у двери — пришлось довольно долго возиться с заевшим амбарным замком. Здесь и разыгралась вдруг та самая трагикомедия. У сарая остановился неуклюжий бокастый грузовик, отдаленно напоминающий поливальную машину. Его Кирилл уже видел: на этой колымаге — называлась она «ЗСК» — тесть каждый день возил из города комбикорм для совхоза. И точно — за рулем сидел Петька, уже знакомый Кириллу парень с рыжеватой бородкой, верный ординарец Ивана Макаровича. А вот и сам тесть стремительно, словно в атаку, метнулся с высокой подножки к двери и, не обращая внимания на Кирилла, скомандовал:

— Вперед, черт-дьявол!

С какой-то веселой яростью он ворвался в сарай и, будто в давнего врага, вцепился в первый попавшийся под руки мешок.

— Я знаю — будут тут гнить! Хватай их к чертовой матери! — приказал он поспешившему на подмогу Петьке.

Кирилл, ничего не понимая, смотрел, как опи, свирепо кряхтя, один за другим прибортовывают тяжеленные мешки к боковинам кургузого грузовика, стягивая их для надежности толстой веревкой. Несколько мешков Петька сумел втиснуть в узкое пространство позади кабинки. Крепко приторочив к борту последний мешок, Иван Макарович небрежно бросил Кириллу:

— Сдам к чертовой матери в заготконтору!

И колымага, натужно заурчав, задергавшись своей многотонной громадой, попятилась задним ходом от сарая, увозя в неизвестность больше половины убранного с таким трудом урожая.

Кириллу ничего не оставалось, как поведать о только что свершившемся на его глазах загадочном действии.

Гулко хлопнув себя по бедрам: «Ну, Ванька! Ну, черт!» — теща поспешила на место преступления. А вскоре, вернувшись из разоренного сарая, крыла Ивана Макаровича на чем свет стоит:

— Это ведь надо же — такое учинить! Два дня возились, спины не разгибали, а он — на тебе — самую крупную картошку сдавать повез. Ну, Ванька, погоди, проклятый, появись только, уж я тебе покажу!

Явился Иван Макарович поздно, когда Надежда Савельевна истратила уже весь порох в заочных обличениях своего «любезного». К тому же явился он с пышным букетом свежих, видимо, только что сорванных роз и — «Надечка, деточка, это тебе!» — уверенный в безотказности своего давно испытанного приема, не без галантности поднес цветы окончательно обезоруженной супруге. Она даже позабыла спросить, сколько выручил тесть в заготконторе за сданную картошку. Впрочем, было ясно, что часть выручки он успел уже пустить на расчет с помощниками и что расчет этот был произведен, как всегда, с неукоснительным соблюдением общепринятых правил к обоюдному удовольствию договаривающихся сторон.

Шли последние дни августа. Матери покупали ребятишкам портфели и ранцы. Приближалась пора Шумиловым собираться в обратную дорогу. И не был бы Иван Макарович самим собою, если...

За ужином он безо всяких обиняков заявил:

— Скоро воскресенье, вы как хотите, а мы с Кириллом Иванычем поедем в сад на пикник. Павел Викторыч будет, Рюхин, еще кое-кто.

И — ладонью по столу:

— Все! Обжалованию не подлежит.

О Павле Викторовиче, директоре совхоза, тесть всегда говорил с большим уважением, стараясь при каждом случае подчеркнуть всяческие его достоинства. Однажды Иван Макарович с Кириллом пошли в совхозный сад, до которого от окраинной улицы было рукой подать. Перейдя неширокое кукурузное поле, очутились между ровными, уходящими вдаль рядами яблоневых и грушевых деревьев. Зеленые стены листвы с красными и желтыми пятнами плодов, чуть затушеванные струящимся от прогретой травы лиловатым предосенним маревом, напомнили Кириллу картины импрессионистов, полные

ярких, радостных красок, приглушенных мягкой и светлой печалью.

Иван же Макарович меньше всего был склонен к пустой созерцательности. Он то и дело наклонялся, выбирал в траве под деревьями яблоки и груши, оценивающие подбрасывал, взвешивал их в ладони и подходящие клал в сумку. Кирилл спросил, как называются здешние сорта, и тещь называл:antonовские яблоки, осенне полосатое, из груш — дули, а те, что поменьше — поддульки. И antonовские яблоки, и дули — названия эти Кирилл встречал у Бунинна, в грустных его повестях и рассказах, и почему-то показалось ему теперь удивительным, что они, эти бунинские деревья — имена их — живы. А тещь, сроду не слышавший о своем знаменитом на весь мир земляке, продолжал буднично и деловито наполнять сумку поэтично воспетыми, пахнущими солнцем и ветром плодами.

Незаметно они забрали в глубь сада и наткнулись на мотоцикл с коляской. Неподалеку оказался и хозяин — дюжий детина: воровато озираясь, рвал яблоки, кидая их для быстроты за ворот оттопырившейся полосатой тельняшки. Внизу, в траве белел большущий ящик, куда он вываливал яблоки из-за пазухи. Завтра этот заготовитель наверняка будет сбывать дармовую продукцию на базаре, деря с честных, перезворотливых соотечественников сколько душа пожелает.

Кирилл увидел, как изменился, заиграв желваками, Иван Макарович, и, зная его горячий нрав, подумал: вот сейчас встрияет, и скандала не миновать. Однако, видно, чтоб не омрачать последние дни гостевания Кирилла, он решил не связываться с детишкой, но все же, проходя мимо, не удержался, буркнул:

— Ходят здесь, как по своему саду!

Душе его были глубоко противны всякие обидалы, и он с матерками рассказал Кириллу, что много городских любителей дармовщины каждое лето промышляет в совхозном саду, и вывозят они яблоки и груши кто сколько сумеет — целыми возами.

— Свои-то, совхозные, всего и пронесут по сумке-другой ребятишкам, не то что эти паразиты, мать их так. Вот кому дал бы чертей! А наш участковый подкарауллил раз возле сада доярок с авоськами яблок. Тем обидно, — сколько времени даром, а тот — уперся и все. Пришлось с пустыми руками возвращаться. Ну, девки — к Павлу Викторовичу: так, мол, и так.

— Небось и от него влетело?

— Что ты? Павел Викторыч — человек! Только ушли, вызывает участкового: «Ты как же это? Ты von тех хватай — куркулей, кто сад наш зорит да на базар в город ташит. А своих хоть раз еще задержишь — выгоню к чертовой матери!» Понял, какой у нас директор?! А ты говоришь!

Про Рюхина, мужа ревнивой прорабши, Иван Макарович ничего не рассказывал особенного. А Рюхин этот был тоже не абы кто — председатель рабкоопа. Благодаря ему, можно сказать, давненько не знали Шумиловы горя с гречкой. Про нее ведь все больше только по радио говорят да в газетах пишут. Вот и шлют тесть с тещей посылки, а в них — сухие яблоки и груши, конфеты в красивых обложках с картинками «Песни Кольцова», сущеные тыквенные семечки и непременно — на радость Вере — плотный, увесистый мешочек: знай себе вари гречневую кашу. Вот кто он такой, Рюхин...

Потому и был Иван Макарович столь краток: не с кем-нибудь там пикник — с достойнейшими людьми, и чего тут распространяться, обжалованию не подлежит!

В воскресенье, ближе к вечеру, Иван Макарович надел свой парадный костюм с ромбиком, приладил единственный же бордовый в мелкую темную крапинку галстук на резиновом ободке с застежкой и стал выглядеть так, будто собирался не на волю, а в президиум торжественного собрания. Пришлось и Кириллу вырядиться в костюм — настояла Вера, — и этак выряженные уселись в ожидании на колченогой скамье перед домом. Не успел Иван Макарович докурить сигарету, а Вера — бросить на Кирилла еще один назидательный — сам, дескать знаешь, о чем я, — взгляд, как из-за дома вывернула черная директорская «Волга» и затормозила, покачивая длинной антенной. Тут же распахнулась задняя дверца — ее услужливо открыл Рюхин; сидящий впереди Павел Викторович — грузный краснощекий мужчина, как оказалось, ровесник Кирилла — полуобернувшись, стиснул огромной пятерней узкую Кириллову ладонь — дня три потом ломило в суставах — и привычно бросил: «Вперед!»

В поле двигались уже маленькой колонной: из крайнего проулка выпрыгнул запыленный рабкооповский «газик»; в его кабине сидело несколько незнакомых Кирил-

лу мужчин. Дорога тянулась вдоль необозримой плантации свеклы, простроченной четкими, сливавшимися вдали в сплошное зеленое море рядами сочной свекольной ботвы.

Некоторое время ехали молча, и оттого Кириллу было немного не по себе. Удивляла сдержанность Ивана Макаровича, вовсе ему не свойственная и особенно странная на фоне увеселительной поездки. Застегнув пиджак на все пуговицы, он сидел и впрямь, будто на собрании, не касаясь спинкою чехла. Не затевал беседы и Рюхин, словно тоже ждал чьего-то сигнала.

«Субординацию, что ли, хотят показать? — подумал Кирилл. — Машина-то как-никак директорская».

Навстречу попалось несколько грузовиков с надписью «Урожайная» на высоких бортах.

— К нам на уборку едут, свеклу вывозить, — сказал, наконец, Павел Викторович. Сказано это было для гостя — не для Рюхина же с Иваном Макаровичем — и Кирилл, чтобы поддержать разговор, спросил, откуда машины.

— Издалека, аж с самого Урала, из-под Челябинска, — ответил директор. И добавил с хозяйствской гордостью: — У нас этой свеклы столько — всей России работы хватит.

Впереди, там, где садилось солнце, все яснее вырисовывалась казавшаяся издали бледно-лиловой, постепенно темнеющая, расчленяющаяся на отдельные деревья лесополоса. Вскоре они подъехали к ней вплотную. Деревья были уже погружены в сумерки, и только верхушки их слегка розовели в печальных лучах угасающей предосенней зари. Свернули с грейдера на едва заметную, петорную дорожку и медленно двинулись по ней в глубь неширокой аллеи. Павел Викторович не давал шоферу никаких указаний, и Кирилл понял, что директор с компанией являются сюда не впервые.

В одном месте деревья полукружьем отступали от дорожки, образуя маленькую лужайку. Здесь они, наконец, остановились. Следом подъехал «газик», оттуда вытащили тяжеленный рулон брезента и расстелили на траве. Вслед за брезентом была извлечена всякая хозяйственная утварь: железная тренога, большое цинковое ведро, топор, лопата и даже паяльная лампа, которой в мороз шоферы разогревают двигатели, а дома смолят свиные туши...

— Кирилл Иваныч, присаживайтесь, располагайтесь,

как дома,— улыбнулся Павел Викторович, вешая пиджак на ветку. Его примеру последовал и Рюхин. Только теща оставался при полном параде — застегнутым на все пуговицы.

Они расселись на брезенте, Иван Макарович достал пачку «Казахстанских», угостил сигаретами Павла Викторовича и Рюхина, потом закурил сам.

— Хорош табачок! Сколько разных пробовал — не то,— одобрил Рюхин.

— Это, поди, Кирилл Иваныч привез? — спросил Павел Викторович.

Кирилл кивнул.

— Товарищи, давайте-ка к нам на минутку! — крикнул директор дюжим мужчинам, которые хлопотали возле треноги с ведром, налаживая паяльную лампу.

Те с готовностью подошли.

— Знакомьтесь,— предложил Павел Викторович,— это Кирилл Иваныч, зять Ивана Макаровича, приехал в отпуск из Казахстана.

И опять досталось Кириллу: мужчины — один из них оказался агрономом, а другой зоотехником,— здороваясь, так сдавили и без того ноющую после директорского пожатия руку, что он чуть не вскрикнул.

Агроном с зоотехником отпросились у Павла Викторовича и снова отправились хлопотать по хозяйству. Вскоре у «газика» уже свирепо гудела паяльная лампа, изрыгая на подвешенное к треноге ведро упругую, пыщущую жаром струю.

— Как у вас желудок? — спросил вдруг Павел Викторович Кирилла.

— Да вроде ничего,— ответил он, отчего-то смущившись.

— Тогда порядок,— широко улыбнулся директор.— Сейчас мы угостим вас хушармой.

— Чем, чем? — не понял Кирилл.

— Хушармой. Это наше, так сказать, фирменное кушанье. Ну-ка, Василь Федорыч, первую тарелку гостю.

Агроном огромным расписным черпаком наполнил до краев глубокую тарелку и подал Кириллу, а затем уж налил директору и всем остальным.

Кирилл зачерпнул деревянной ложкой исходящую паром красноватую жижу, и рот мгновенно обожгло, будто огнем.

Проглотить еще хотя бы ложку обжигающей бурды Кирилл не решился и, чтобы не обидеть хозяев, стал

медленно разжевывать жесткие куски не успевшего как следует провариться мяса. Между тем, мужчины проворно разделались с кушаньем, и агроном налил всем еще по полной тарелке.

— Это кушанье нам Василь Федорыч с Кавказа привез,— объяснил директор.— Прошлым летом был там в доме отдыха, попробовал — понравилось. Записал, как ее готовят, угостили нас — тоже пришлось по душе. Теперь у нас ни один пикник без хушармы не обходится.

Проворно справившись и со второй порцией, Павел Викторович, а следом и все остальные с удовольствием закурили.

«Крепкие мужики,— подумал Кирилл.— Выпили, и хоть бы хны. Как на собрании — ни песен, ни басен».

Видно, того и другого ждали от него самого. Но, хотя хмель горячил голову, Кирилл, подстраиваясь под остальных, все не решался выказать этого, в ожидании какого-либо толчка.

— Ну, Кирилл Иваныч, расскажите, как там у вас живется,— предложил Павел Викторович.— Республика то у вас огромная, размах прямо российскому под стать.

— Недаром их чуть не каждый день по «Времени» показывают,— вставил Рюхин.

Кирилл меньше всего был готов к серьезным разговорам. Но все с интересом глядели на него. Кирилла подмывало изречь что-нибудь повесомее, а вышло банальное:

— Ничего живется. В общем, кому как.

— Яблоки у вас уж больно красивые,— щелкнул пальцами Павел Викторович.— В «Огоньке» как-то цветное фото видел: крупные, красные, в блестках росы. Загляденье!

— Это вы про апорт?— спросил агроном.

— Во-во!

— Так мы его тоже видали — на картинках,— сказал Кирилл, и все рассмеялись.

— Да ну?! Это почему же?— басовито хохоча, подначил директор.

— Видать, больно он всем понравился. Особенно на севере. Теперь дельцы наловчились — самолетами туда каждое лето яблоки фугуют.

— Вон как вы там нашим апортом распоряжаетесь,— поддел агроном.

— Почему вашим?— удивился Кирилл.

— Так он же родом отсюда — с воронежской земли.

Его съе в прошлом веке кто-то туда к вам в горы завез, вот он там и прижился, климат, стало быть, ему оказался по душе.

— Да, я тоже про это читал,— вспомнил Кирилл.— А бабушка рассказывала: когда с Волги с ледом прислали, воз апорта стоил пять рублей. А теперь — за пятерку и килограмма не купишь.

— Значит, был апорт наш, потом ваш, а теперь сделался пищевой?— подытожил Павел Викторович под общий хохот.

Кирилл намеревался было сказать еще про сушеные яблоки и груши, которые шлют им тещь с тещей, но не успел. Павел Викторович снова высоко поднял руку:

— Ну, друзья, давайте — за Россию и Казахстан.

Иван Макарович, только что расстегнувший пиджак, хотя уже вовсю тянуло из посадок холодной сыростью, толкнул Кирилла в бок:

— А расскажи-ка про ишака и дыни.

И хотя промолвил он это совсем негромко, Павел Викторович — каких только чудес за этой «хушармой» не бывает! — рассыпал и скомандовал:

— Тихо! Есть предложение послушать Кирилла Иваныча!

Иван Макарович снова толкнул зятя: «Давай!»

История была и в самом деле забавная. Когда-то отец рассказал ее одному знакомому писателю, а тот с его слов — Кириллу. Заключалась же она в том, что еще до войны, незадолго до рождения Кирилла, отец вместе с приятелем, тоже литератором, пошли на базар за дынями. Кто-то из них в тот день получил гонорар. Они отметили это событие в чайхане, а уж потом отправились выбирать товар. Приглянулись им дыни у одногого торговца. Много их лежало в небольшой тележке, в которую был запряжен ишачок. Отец с приятелем набрали целую гору дынь, расплатились с торговцем, да тут и спохватились — столько в руках не унести. А что если купить весь товар вместе с тележкой? Но не впрягаться же в нее самим. Выходит, надо покупать и ишака. Хозяин согласился, назначил цену, они переплатили щедро, с лихвой и, довольные, повели ишака под уздцы домой. Приезжают, сгружают товар — не нарадуются: ароматные дыни и все — как на подбор. А когда тележка опустела, друзья — хлоп себя по лбу: тьфу ты черт, а куда ж теперь девать ишака? Не бросать же его, несчастного, на произвол судьбы! Жалко стало ишака, и

повели они его обратно. Прибывают на базар, хватились — а торговца-то и след простыл. Они — вдоль ряда туда-сюда: нету! Вот досада! Заходят с горя опять в ту самую чайхану, смотрят — ба-а! — да вон же он, голубчик, в углу за столиком — крупный барыш обмывает. Как это они сразу не догадались! Подходят, улыбаются, а тот увидел — перепугался: решил, хотят деньги у него отобрать. Они упрашивают: не надо нам никаких денег, возьми только ради бога назад своего ишака! А тот трясется со страху, бормочет — аллаха на помощь зовет. Деру хотел уж было дать. Кое-как все же втолковали, что к чему. Привязал он ишачка к ограде, заулыбался. Так и разошлись с миром.

Рассказывал Кирилл теперь эту историю мужикам, те, конечно, хотели, сам он тоже, а на душе между тем было отчего-то нехорошо. Подумал: нет ведь уже отца, и, кроме Ивана Макаровича, никто из этих мужиков его и в глаза не видел, а он тут мелет чепуху, и не о том надо было бы вспоминать, не о том...

— Так как вам, Кирилл Иваныч, наша хушарма? — просмеявшись, справился Павел Викторович.

— Здорово! — соврал Кирилл.

— Ну, что ж, коли так, паверное, скажем спасибо этому дому? Нет возражений? Тогда — по машинам!

В поселок вернулись уже около полуночи. «Волга» остановилась у деревянного крыльца неопрятного серого дома, в котором Кирилл, приглядевшись, узнал контуру рабкоопа. Действительно, Рюхин на правах хозяина первым вышел из машины и стал в неверном свете фар отпирать внушительный амбарный замок.

Кирилл недоумению взглянул на Ивана Макаровича и директора, а они лишь улыбались. Наконец в рюхинском кабинете зажегся свет, и вся компания, включая агронома и зоотехника, снова собралась за общарпаным служебным столом, где под толстым, отбитым с краю стеклом пестрели цифрами торговые сводки и диаграммы.

Рюхин, стоя под вымпелом «Победителю социалистического соревнования», деловито отодвинул допотопный, с заляпанными клавишами телефонный аппарат и мраморный чернильный прибор... Директор, улыбаясь, сказал:

— Товарищи, если не возражаете, заключительную часть нашего вечера будет вести хозяин этого кабинета.

Возражать никто не стал. Но только Рюхин приго-

твился произнести очередной тост, как в дверь постучали.

— О, черт-дьявол! — тихонько выругался Иван Макарович и решительно направился к двери. Видно, чутье разведчика подсказывало ему, в чем дело. В комнате стало тихо. Минуты через три Иван Макарович вернулся как ни в чем не бывало, будто отлучался просто покурить. Кириллу же шепнул:

— Верку черти принесли. Ну, я ей сказал пару слов, пусть знает, что почем.

У Кирилла неприятно защемило в душе, неловко стало за жену и в то же время жалко ее, но тон тестя был таким победно-непрекаемым, что он махнул на все рукой и улыбнулся.

И тут Рюхин, вдохновленный предоставленной ему честью, объявил:

— Слово нашему дорогому гостю! Просим, Кирилл Иваныч!

Выглядело это довольно смешно — Кирилл и без того солировал весь вечер,—но никуда не денешься: порядок есть порядок.

Простые люди. Завтра им, как всегда, чуть свет на работу, а они все не спешат расставаться. А чем, собственно, заслужил он такое внимание? Молол целый вечер абы что. Кириллу захотелось напоследок — придется ли когда еще встретиться? — сказать о чем-то важном, сказать хорошо и душевно, но, как бывает, подходящие для этого трогательные, сокровенные слова где-то терялись, а на язык попадали обычные, дежурные пожелания — счастья, здоровья, успехов...

...Загульная «хушарма» не прошла даром. Проснулся Кирилл с головной болью. Солнце стояло уже высоко. Иван Макарович, оставшийся дома по случаю предстоящих проводов, вопреки обыкновению, еще почивал, и в желудке у него дико урчало. Вера возилась с чемоданами и сумками, и отчитывать Кирилла за вчерашнее ей было некогда. Со второго этажа доносилась ругань. Молодая мамаша кричала на весь дом, воспитывая чадо:

— Ну, погоди, сичас я тебя научу уроки учить! Сейчас ты у меня получишь!

«Завтра домой», — вспомнил Кирилл.

...И опять прокрутилась долгая пестрая дорожная карусель, прокрутилась в обратном направлении, как в перевернутом заправленной в аппарат киноленте, и жизнь Шумиловых снова попала на те же, что и раньше, привычные, размеренные круги. Впрочем, на те ли? Порою они, эти круги, вдруг сблизят разных, далеких людей, порою же — разобщат близких. Совсем редко стала теперь звонить баба Лена. Задаст внукам несколько дежурных вопросов — и до свидания.

Очередной звонок раздался в день рождения Кирилла. Он взял трубку.

— Сегодня не только твой памятный день, но и мой,— логично обосновала звонок баба Лена.

Кирилл не нашел что ответить: сказанное было, как всегда, абсолютно правильным и не нуждалось в комментариях.

— Поздравляю,— сказала баба Лена, потом спряталась о здоровье.

С этим у Кирилла пока было вроде бы все в порядке.

— Ну, будь здоров,— пожелала баба Лена. И закончила тоже правильными, но отстраненными, негреющими словами:

— Всего доброго.

Кирилл не сразу положил трубку. «Всего доброго?» Да ведь так говорят только посторонним, чужим. А тут.. «Всего доброго»...

Оставалось теперь разве что перейти на «вы».





## СЛОВО ОБ ОТЦЕ

Писать о моем отце, Иване Петровиче Шухове,— дело для меня непростое.

Так и кажется,— вот сейчас зазвонит телефон и в трубке раздастся характерный, не теряющий с годами энергии голос: «Илюшка, здравствуй! Ну, какие новости?»

Почти таким же, как всегда, только перебиваемым сильной одышкой, был этот дорогой для меня голос и в тот, самый последний апрельский вечер. Отец говорил о простом, будничном, ни словом не обмолвился о самочувствии; как обычно, мы пожелали друг другу спокойной ночи.

Тот день он безвыходно провел дома, много сидел на кухне, с удовольствием пробовал какие-то нехитрые, домашнего приготовления кушанья, нахваливая их и благодаря хозяйку за хорошее угощение, благодаря с какой-то особой умиротворенностью, чего с ним никогда раньше не бывало. Время от времени заглядывал в гостиную, в кабинет, снова возвращался, не находя себе места. Трижды звонил мне. Наверное, прощался... Вечером, уже в десятом часу, вызвал такси — ехать к сестре (собирался с утра, да почему-то все откладывал), сел на заднее сиденье. Сколько он поездил, полетал на своем веку, сколько побродил и по своим, и по чужеземным дорогам! На этот раз — не доехал: отказалось сердце...

Писать об отце нелегко потому, что он известен как большой, своеобразный художник, и, понимаю, вот об этом и надлежит мне прежде всего вести речь. А тут идут в голову не ахти какие значительные эпизоды, мелкие

бытовые детали и подробности. Просеять бы их сквозь воображаемое сито, отобрать то, что характерно и важно: литературные оценки, отзывы, замечания о книгах, о творчестве, о писательском «ремесле». Но как это сделать? Специальных, прямых литературных разговоров мы, пожалуй, никогда не вели: еще с детских лет исподволь, незаметно возникло у меня (и сохранилось навсегда) ощущение писателя, несокращаемой дистанции между собою и отцом; с годами ощущение это становилось все более глубоким, и я никогда не позволял себе вторгаться в сокровенный художнический мир, именуемый обычно творческой лабораторией писателя. Ведь писательство было его «святая святых», это я понял еще в ранней юности и в последующие годы не раз имел возможность в таком убеждении укрепиться.

Творчество, писательство отец называл просто — работа. Он не принадлежал к числу тех, кто следует правилу: ни дня без строчки. За время, что на моей памяти, бывали у него периоды напряженнейшего, исступленного художнического труда (в 1959 году, вернувшись из США, отец за два с половиной месяца написал книгу «Дни и ночи Америки»); случались, наряду с этим, и затяжные, подспудно (он об этом не говорил, но мы, близкие, догадывались и чувствовали) угнетавшие его простoi.

В записках С. А. Толстой «Моя жизнь» приводится высказывание Льва Толстого: «...главное, в человеке талантливом должна быть любовь к своему искусству, оно должно мучить его и доставлять наслаждение. Эта любовь-то и есть дар божий, искра небесного огня, который делает из человека великого художника».

Прочитав эти слова, я как-то непроизвольно подумал об отце. Знакомясь с его письмами конца тридцатых — начала шестидесятых годов, посланными в большинстве своем в Алма-Ату из Пресновки, с особой остротой ощутил то, что было основой его сущности,— всегдашнюю неуспокоенность души, вызванную «любовью к своему искусству»— источнику радостей и тревог, мучительных сомнений, доводящих порой «до ненависти к своей профессии», одним словом,— к творчеству, которым он, действительно, жил и горел.

В посланиях из своего североказахстанского далека моей матери Евгении Александровне Рязанской он сообщал: «Бывает, по ночам, я и плачу и смеюсь вместе со своими героями, которые живут, страдают, любят;

сражаются и ненавидят с той предельной чистотой и искренностью, на которую способен только наш народ». Не раз жаловался: «Не с кем посоветоваться. Все обязан решать в полном одиночестве со своей совестью, со своим вкусом... Мне очень хотелось бы почитать кому-то эти бесконечно дорогие для меня страницы, проверить, так ли уж это хорошо и правдиво, как мне кажется...» «Очень трудно, очень трудно даются все же настоящие слова».

И однажды в горькую минуту Иван Петрович признался: «Нет, скверное это дело быть писателем! То кажется все превосходным, а то до того беспомощным и бездарным, что волосы дыбом...» «Все-таки, очень и очень жестокая вещь — искусство. Оно требует от нашего брата полной отреченности, внутренней собранности и совершенно чудовищной работы». И снова: «Знаешь, как трудно, т. е. медленно я пишу. Но зато как хорошо! С какой радостью я работаю!» «Хорошо сказано у Паустовского о Пушкине: и счастлив и несчастлив в одно и то же время. И горько от одиночества, и хорошо от того, что хорошо работается, что приходят настоящие слова, что иногда разволнившись так, что писать некоторое время просто не можешь».

Кстати, в журнале «Рост» отец писал: «Так же, как и над первым романом, сидел я над «Ненавистью» 8 месяцев без передышки. Но работа давалась уже труднее. Так, некоторые главы — собрание в юрте и на хуторе, соревнование на уборке и концовка — переделывались до 18 раз — 18 рукописных вариантов этих глав лежат в моих папках».

Да, безусловно, жила, не гасла в Иване Петровиче мучительная и сладостная любовь к своему искусству, та самая «искра небесного огня», которую природа от века дарует далеко не каждому...

Однинадцать лет — с весны 63-го до весны 74-го — Иван Петрович работал главным редактором журнала «Простор», который раньше был малозамечен среди своих собратьев, а при Шухове — благодаря его личному писательскому авторитету, стараниям и труду — вышел на большую литературную арену, получил признание всесоюзного читателя. Об этом рассказали в книге «Воспоминания об Иване Шухове» те, кто работал в журнале под его началом. Юрий Герт — «Школа Шухова», Павел Косенко — «Служение литературе», Николай Ровенский — «Посчастливилось работать вместе», Влад-

лен Берденников — «Таким он останется с нами...» — названия мемуарных статей говорят сами за себя.

Теперь, спустя годы, интересно и поучительно оглянуться назад, полистать относящиеся к тому времени материалы писательского архива.

Однинадцать лет... Сто тридцать подписанных Иваном Петровичем журнальных номеров, каждому из которых отдана частица его души, энергии и таланта. Полный комплект «Простора» шуховской поры хранится теперь в фондах Дома-музея писателя на его родине в с. Пресновка Северо-Казахстанской области.

С чего же начинал свою редакторскую деятельность Иван Петрович — литератор горьковской школы? Емко и точно сказано об этом в статье «Колокол его жизни» члена редколлегии «Простора», доктора филологических наук Евгении Лизуновой. Шухов, свидетельствует она, вывел журнал на путь смелого творческого поиска, привлек к участию в нем писателей Москвы, Ленинграда, братских республик, сделал его большим творческим «гнездом» многонациональной литературы Казахстана. Отсюда широко выходили в свет произведения не только русских, но и казахских, уйгурских, корейских, немецких писателей республики. Со страниц журнала вышли впервые переведенные на русский язык: третья книга романа Сабита Муканова «Годы возмужания», роман Абдижамила Нурпенсова «Кровь и пот». Из номера в номер журнал печатал и литературно-документальные материалы, где читатели узнавали новое о знаменитых земляках, о замечательных людях, связавших свою судьбу с Казахстаном,— Тарасе Шевченко, Чокане Валиханове, Всеволоде Иванове, Павле Васильеве... Здесь впервые на русском языке с предисловием Габита Мусрепова печатался роман японского писателя Такэси Кайко «Голый король»; неизвестные или позабытые произведения из наследия И. Бунина, А. Платонова, П. Васильева, интереснейшие историко-документальные материалы Н. Раевского об А. С. Пушкине. Авторитет Ивана Петровича, подчеркивает Е. Лизунова, его настойчивость в обращении к московским и ленинградским писателям давали свои плоды.

Плодотворным, радостным для редакции и читателей было сотрудничество «Простора» с Юрием Казаковым. Замечательный прозаик, великолепный стилист, он выступал в журнале и как переводчик вышеназванного романа А. Нурпенсова, и как автор оригинальных произ-

ведений — рассказа «Нестор и Кир», воспоминаний «Поедемте в Лопшеньгу» — о Константине Паустовском.

Свое мнение о казахстанском журнале, его творческих начинаниях, поисках и находках Юрий Казаков высказал в статье «Горизонты «Простора», опубликованной в «Комсомольской правде» 16 февраля 1965 года. «Начну сразу же с похвалы журналу «Простор», — писал Казаков. — Листая многие номера журнала за 1964 год, я не переставал с благодарностью думать о его авторах, о его редакции и главном редакторе И. Шухове».

Чем же привлек «Простор» московского писателя? Кроме всего прочего, тем, что он «почти лишен элементов «провинциализма». Он интересен всем — своей прозой, стихами, обложкой, иллюстрациями». Ведь провинциализм, по Казакову, в сущности полярно противоположен большой литературе. При этом автор подчеркивал, что имеет в виду не географическое понятие слова «провинциальный»: провинциальные издания встречаются не только в Воронеже, на Дону или на Дальнем Востоке. Встречаются они во множестве и в Москве. Талантливые произведения должны становиться общенародным достоянием. Журналы «Урал», «Простор», «Подъем» должны читаться всюду, во всех областях и республиках.

Но распространение периферийных журналов по Советскому Союзу, говорилось далее в статье, это только одна сторона дела. Давайте вернемся к читателю. Кто сказал, что читателю Казахстана нужны одни только произведения казахских и русских писателей, живущих в Алма-Ате? Разве не хотели бы казахстанские читатели увидеть на страницах «Простора» имена К. Паустовского, Л. Леонова, М. Шолохова, К. Симонова, лучших зарубежных авторов, молодых советских прозаиков и поэтов?

Так же считал и Иван Петрович и прилагал много усилий, чтобы заполучить для журнала в Москве или Ленинграде что-нибудь интересное. Такое время от времени ему удавалось, потому что с давних пор он поддерживал дружеские отношения с широким кругом литераторов.

Примечательна, скажем, хотя бы вот эта телеграмма, отправленная однажды отцом из столицы сотрудникам журнала: «Дайте двенадцатой книжке анонс Грэм Грин Ведомство страха повесть десять листов тчк неизвестные страницы Бунина тчк три неизвестных рассказа Аверченко тчк воспоминания Эренбурга Фадееве и На-

зыме Хикмете тчк все рукописи привезу приветствую всех наших Шухов».

С принципиальностью и гражданским мужеством отстаивал Иван Петрович вещи значительные, интересные. Теперь отрадно время от времени встречать в примечаниях к произведениям Платонова, Каверина, Казакова, к изданиям стихов Мандельштама, Эренбурга ссылки на первые публикации в «Просторе». И в том, что они тогда впервые появились именно здесь, отразилась глубокая заинтересованность редактора в поддержании престижа нашего казахстанского литературно-художественного и общественно-политического журнала.

Все это встречало одобрение и живой отклик литературной общественности. В первые же месяцы своей редакторской деятельности отец обратился к видным писателям страны с предложением о сотрудничестве. Среди адресатов был известный ленинградский поэт Михаил Дудин. В ответ он прислал теплое, доверительное письмо.

«Дорогой Иван Петрович!

Вы просто своей телеграммой вынудили меня признаться в моей давней любви к Вам,— любви стеснительной и завистливой. Можете мне поверить,— это чистейшая правда.

Можете мне поверить, что мне эту давнишнюю любовь хочется оправдать действительно чем-то очень хорошим.

То, что я написал,— мне самому кажется сейчас сще очень не тем, что бы мне хотелось.

Можете поверить мне: месяца через два у меня будет готов второй вариант и я Вам незамедлительно вышлю, и буду рад одному только тому, что Вы это прочтете, а все остальное будет зависеть только от Вас.

Желаю Вам всего-всего хорошего.

21.XII.63

М. Дудин.»

А вот что писали 25 июня 1964 года родные замечательного советского прозаика Андрея Платонова:

«Глубокоуважаемый Иван Петрович!

Благодарим Вас за Ваше добре письмо, за все хлопоты и за все усилия, которые Вам пришлось одолеть в связи с тем, чтобы напечатать «Джан». Я-то знаю, какие сопротивления были на Вашем пути, и надежды у меня было очень мало: этот милый «Джан» стоил кро-

ви всем, пока не увидел света. И Ваша гордость заслужена. (...)

Еще раз большое Вам спасибо!

Мария Платонова  
Маша Платонова

Еще характерное письмо:

«Дорогой Ваня! (...)

Мы с Верой Дмитриевной — поклонники твоего «Простора». Его подписчики и пропагандисты. Люди весьма искушенные, мы находим в нем многое такое, что ни в каких других изданиях не найдешь. Спасибо за Цветаеву! Какая проза,— она современней прозы многих наших современников! И нам особенно это по душе, ведь мы в Тарусе нередко выходим погрустить на тот самый холм над Окой, на котором Марина хотела быть похороненной.

Спасибо и за чудесный рассказ Юры Казакова о Несторе и Кире. И за публикации стихов Мандельштама. С интересом читали мы публикации Раевского о Пушкине.

А я как старый вояка, прошедший фронтовые огни и воды, с особым интересом прочел потрясающую историю Гиляя...

Будь здрав и бодр.

Крепко тебя обнимаю, друг твой Николай Богданов.

Москва, 18 ноября 1965 г.»

Постепенно слава журнала перешагнула границы не только республики, но и страны. Нередки стали среди редакционной почты корреспонденции из-за рубежа. Так, однажды пришло письмо на английском языке от президента Канадской книготорговой компании Дэвиса.

«Дорогой господин Шухов, разрешите мне обратиться к Вам за помощью. В 1965 году мы начали получать Ваш великолепный, интересный журнал «Простор». Мы показали его одной из главных университетских библиотек, и они попросили нас попытаться достать для них возможно более полную подборку номеров журнала с начала его издания. На самом же деле мы хотели бы получить по два экземпляра каждого номера, которые еще можно приобрести.

Как Вы думаете,— могли бы Вы помочь нам?

Пожалуйста, сообщите, что Вы можете сделать для нас.

Искренне Ваш — Р. А. Дэвис  
17 октября 1965 г.

Летом 1966 года «Литературная газета» опубликовала указ о награждении И. П. Шухова вторым орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 60-летием со дня рождения, и в его адрес пришло множество приветственных телеграмм от товарищей по перу.

Вот некоторые из них.

«Сердечно поздравляю мужественного, честного писателя Эренбург».

«Дорогой Иван Петрович! Сердечно поздравляю Вас, талантливого, мужественного, умного деятеля нашей литературы. Желаю здоровья, удачи, счастливой работы. Да здравствует «Простор»! Ваш Каверин».

«Горячо поздравляю прекрасного писателя Ивана Петровича Шухова с наступлением возраста зрелости, а писателей Казахстана с тем, что их «Простор» редактирует такой удивительный редактор, как Иван Петрович. Пусть сбудутся все желания юбиляра! Юрий Герман».

«Дорогой Иван Петрович! Примите мои братские поздравления со славным шестидесятилетием. Рубеж, в который Вы вступаете, я уже перешел и потому хочу Вам сказать: главное для писателя — не годы, а душевная молодость и талант. То и другое у Вас есть, а потому будьте бодры и горды всем, что Вы сделали и что еще будете делать. Всем сердцем Ваш Лев Шейпин».

Проникновенным письмом откликнулся на событие Юрий Казаков.

«Дорогой Иван Петрович!

К сожалению, я поздновато узнал о Вашем юбилее, поздравления мои по этому поводу уже запоздали, но я все равно решил написать Вам, так как хоть в юбилейные дни что-нибудь скажешь, а то ведь ленивы мы все на доброе слово.

Вопреки разным статьям, постоянно убеждающим меня в великой силе художественного слова, я, Иван Петрович, боюсь как-то верить в эту самую силу. Была бы в слове нашем сила, мир давно бы был устроен иначе, и люди жили бы лучше, чем живут сейчас. И с грустью вижу я и понимаю, что не только после наших писаний, но и после писаний Толстого, Достоевского, Чехова — мир что-то не меняется к лучшему.

И все-таки — вода камень точит! — и все-таки даже и в наших словах по-видимому нуждается человечество. Даже и наше слово, может быть, каким-то боком запа-

дет кому-то в душу. Это немногого, но и ради этого немногого стоит нам быть, стоит существовать нашей прекрасной, несмотря ни на что, профессии.

И вот я поздравляю Вас, дорогой Иван Петрович, с юбилеем Вашим и не с тем, что Вам уже шестьдесят лет, а поздравляю Вас от души и благодарю Вас за Ваше слово, за Ваше дело и за Ваш талант.

И в эти дни я еще хочу попечалиться вместе с Вами, что Вы, наверное, не все дали людям из того, что могли бы дать. Все мы должники, все мы, по прекрасному выражению Пастернака, «вечности заложники, у времеплена», но, по различным жизненным обстоятельствам, как часто мы не все и не то делаем, что должны были, бы делать.

Но и того, что Вы сделали — Ваших прекрасных романов, которые уже пережили не одно десятилетие, я Вашей настоящей работы,— всего этого вполне достаточно, чтобы юбилей Ваш был веселым и гордым.

Вы можете смело сказать каждому: «Попробуй-ка с моей!» — а это ведь так хорошо, когда, оглянувшись на свою жизнь, можно так сказать.

Позвольте мне от души обнять Вас и пожать Вашу руку!

Здоровье у Вас крепкое (мне так казалось, когда мы с Вами встречались), романы превосходные, журнал, которым Вы руководите, один из интереснейших наших журналов, почета у Вас много, энергии и того больше — поистине Вы счастливейший юбиляр!

С надеждой на новые радостные встречи с Вами и с Вашим словом и — с сердечным приветом!

24 октября 1966 г.

Ю. Казаков

Теперь уже многие видные люди считали за честь напечататься в «Просторе». О круге авторов журнала той поры, их почтении к нему могут дать представление и такие письма.

«Многоуважаемый Иван Петрович!

Если Вы совсем забыли, кто Вам пишет и как мое имя и фамилия, то позвольте припомнить Вам, что меня зовут Вера Леонидовна Андреева и что обо мне Вам говорила Ксения Александровна Куприна. Она говорила Вам, что я дочь Леонида Николаевича Андреева и что у меня имеются некоторые воспоминания, а вернее повесть о моем детстве, проведенном в Финляндии, на даче Л. Андреева, — «Дом на Черной речке». Эта вещь, написанная с точки зрения семилетней-восьмилетней девочки

ки, какой я тогда была, возможно, даст читателю представление о той атмосфере, которая окружала моего отца в последние годы его жизни.

(...) посылаю Вам один экземпляр повести «Дом на Черной речке». Было бы очень приятно, если бы Вы сочли возможным напечатать ее целиком или с некоторыми сокращениями в Вашем уважаемом журнале.

Будьте любезны, сообщите мне о Вашем решении.

С большим уважением к Вам — В. Л. Андреева.

6 августа 1966 г.»

И — другое письмо.

«Многоуважаемый Иван Петрович!

Пишет Вам Миклашевская Августа Леонидовна. Наверное, Вы знаете обо мне из мемуарной литературы о Сергеев Есенине. Я была близко знакома с поэтом, и он посвятил мне цикл своих прекрасных стихотворений под названием «Любовь хулигана».

Мне стало известно, что в № 3 редактируемого Вами журнала «Простор» помещен очерк Н. К. Вержбицкого, в котором упоминается о моей дружбе с Есениным. Вы поймете мое сильное желание иметь у себя этот номер журнала, но в Москве его невозможно приобрести.

Усердно прошу — поручите кому-нибудь из Ваших сотрудников выслать два экземпляра журнала «Простор» по адресу Н. К. Вержбицкого, наложенным платежом для передачи мне.

Заранее приношу глубокую благодарность.

7 апреля 1967 года.

А. Миклашевская».

Большой интерес у читателей «Простора» вызывали собственные публикации Ивана Петровича. Одна из первых — предисловие к воспоминаниям А. Есениной «Мой брат Сергей Есенин» под названием «Князя песни русская сестра» (1963, № 9). Здесь шла речь о младшей сестре поэта — Александре Александровне, Шуре, чье имя «увековечено в бессмертных шедеврах мировой лирики — в четырех стихотворениях Сергея Есенина...» Более четверти века И. П. Шухов был связан глубокой дружбой с семьей Александры Александровны. Частым гостем бывал он и в домике Татьяны Федоровны — матери поэта. Подолгу гостя у Татьяны Федоровны, Иван Петрович жил в том знаменитом есенинском амбаре, где любил, павещая родное Константиново, работать Сергей Есенин.

«И никогда не забуду я,— писал И. П. Шухов,— как

престарелая мать великого лирика России однажды сказала мне со вздохом, словно думая вслух:

— Ничего, дорогой Иван Петрович, придет еще такое время — и Сергей наш пойдет! В это я верую!

Слова матери поэта оказались веющими».

В № 1 «Простора» за 1964 год была напечатана статья Шухова «В гостях у Е. П. Пешковой» — о встрече в Москве с Екатериной Павловной Пешковой — женой и другом Алексея Максимовича Горького. Предыстория статьи такова. Приехав в столицу по журнальным делам, Иван Петрович обратился к Е. П. Пешковой с просьбой предоставить «Простору» несколько писем из подготавливаемого тогда ею к печати второго тома горьковских писем. Она выполнила просьбу, и эти письма, прокомментированные и завизированные Екатериной Павловной, были вскоре опубликованы в казахстанском журнале.

«Слушая Екатерину Павловну, — писал Шухов, — я живо представил себе высокую, слегка сутуловатую фигуру Алексея Максимовича, и в памяти возникали мои встречи с ним в его московской квартире на Мало-Никитской и в бывшем загородном имении Саввы Морозова в Горках под Москвой. (...)

Легко и непринужденно, так же доверительно просто и доброжелательно разговаривал тогда со мной, почти мальчишкой, великий Горький, как теперь, спустя три десятилетия, разговаривала со мною верный друг Алексея Максимовича — его жена».

Когда отмечалось 100-летие со дня рождения основоположника советской литературы, И. П. Шухов признался: «Если говорить о счастье, подаренном мне щедрой на него жизнью, то я обрел его в далекой заре моей юности в общении с Горьким, во встречах с ним, в переписке...

Этому великому имени я — как, видимо, и многие иные писатели моего поколения — обязан всем, что есть и во мне, и в писаниях моих доброго, теплого, светлого».

Неоднократно высказывался Иван Петрович о работе журнала, современном литературном процессе. «Мы стремимся сделать «Простор» правдивым и ярким зеркалом многообразной жизни сегодняшнего Казахстана. Мы хотим, чтобы в каждом номере журнала самый широкий круг читателей находил для себя духовную пищу», — заявлял главный редактор, говоря о планах на 1965 год.

В статье «С высокой мерой требовательности» («Казахстанская правда», 1968, 28 декабря), касаясь планов редакции в связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина, Шухов подчеркивал: «Предстоящий ленинский юбилей, к которому обращены сейчас сердца и умы всех советских людей, побуждает нас взыскательно оценить не только то, что уже сделано, но и более ответственно думать о будущей работе. (...) Отдаем себе отчет в том, сколь трудна и ответственна для писателя ленинская тема, с какой высокой мерой требовательности должен подходить журнал к ленинским материалам. Здесь, как нигде, не имеет права на существование поверхностная скоропись, конъюнктура и стремление «откликнуться». Об этом предупреждает нас партия, это диктует нам наша писательская и гражданская совесть».

В мае 1971 года отец выступил с речью на VI съезде писателей Казахстана. Это выступление было положено в основу его статьи «Преодолевая провинциальность», опубликованной в том же году в августовском номере «Простора». Здесь Иван Петрович затронул важные вопросы жизни и литературы. Начало русской литературы Казахстана, напомнил он, положили такие известные мастера художественного слова, как Д. Фурманов, Вс. Иванов, П. Васильев, К. Урманов, Е. Пермитин. Они глубоко знали жизнь русских переселенцев, казачество и казахской бедноты, в их книгах с большой симпатией показаны нравы, быт, душевное благородство казахского народа. Вспомним хотя бы поэму П. Васильева «Соляной бунт». Заложенная ими традиция интернационализма активно и широко развивается современными русскими писателями Казахстана. Мы обязаны не только изображать жизнь республики во всем ее богатстве и многообразии, но и глубоко раскрывать одно из самых удивительных явлений нашего времени — крепкую дружбу народов. Это явление у нас постоянно перед глазами, потому что нашу республику населяют более ста национальностей. Одну из существенных заслуг русской литературы Казахстана, подчеркивал Иван Петрович, я и вижу в том, что из книги в книгу, из статьи в статью она старается создавать реалистические образы современных казахских тружеников, рассказывать об истории и нынешних достижениях казахской литературы и культуры, о богатстве природы республики и преобразовании ее гигантских просторов.

Далее отец поделился своим пониманием катего-

рии круга авторов журнала «Простор», сказал о существовавшем раньше мнении, которое обладало прочностью предрассудка, что казахстанский журнал обязан печатать только казахстанских литераторов. Мы попробовали другой путь, будучи увереными, что журнал издастся не столько для писателей, сколько для читателей. В общем результаты оказались положительными. Теперь мы можем более уверенно вести наступление на провинциальность, повышать идеальные и художественные требования. Наш авторский актив должен ориентироваться не на некий безличный казахстанский уровень, а работать с учетом нынешних профессиональных требований. Расширение круга авторов принесло несомненную пользу читателям, литературной культуре республики и особенно воспитанию литературной молодежи. А в нашей республике, подчеркнул Иван Петрович, подрастает талантливая литературная смена. Одной из основных задач журнала является пропаганда лучших произведений современной казахской литературы. Особое внимание читателей привлекли опубликованные в «Просторе» повести Г. Мусрепова «Однажды и на всю жизнь», А. Алимжанова «Синие горы» и роман И. Есенберлина «Схватка», удостоенные Государственной премии республики.

В заключение Шухов сказал: «...нельзя служить народу, не зная его повседневных нужд и забот, его трудовых свершений и мыслей о жизни. А они, эти мысли и свершения, огромны и прекрасны, как все, что рождается и творится в недрах народной жизни. Но нас не страшит такая почетная обязанность, потому что нет более высокого счастья, чем быть нужным своей стране хотя бы одной строкой, хотя бы одним умным правдивым словом».

...Любовно, можно даже сказать, трепетно относился отец к Александру Трифоновичу Твардовскому. Ценил его как талантливого поэта и человека, честного искреннего, по-крестьянски прямого и крепкого духа. Их связывало глубокое внутреннее родство. В посвящениях Твардовского Иван Петрович внимательно, учащимо следил за работой Твардовского на посту главного редактора «Нового мира», многое брал для себя за разец, сопереживал его радостям и невзгодам. Очень редко были ему в Твардовском душевная открытость, щедрость и простота.

Тяжело пережил отец кончину Твардовского. В се-

«Слове прощания» («Простор», 1972, № 1) он писал: «Все мы давно знали о затяжной, тяжкой болезни Александра Трифоновича Твардовского и с тревогой спрашивали при каждом случае московских наших друзей о том, каков он нынче, и бесконечно радовались хоть немного обнадеживающим вестям...

Его уже нет с нами. (...)

Нет его.

Но навсегда остался с нами поэт века! Национальная гордость, честь и слава русского народа. Его великой литературы. Его культуры. Его поэзии.

«Я счастлив тем, что я оттуда. Из той зимы. Из той избы. Я счастлив тем, что я не чудо особой, избранной судьбы!» — сказал он о себе в одном из изумительных по обнаженной искренности стихотворений, строки из которого я с великой радостью поставил эпиграфом к своей повести «Трава в чистом поле».

Но вопреки этому неприворно скромному утверждению Александра Трифоновича, мы читаем, воспринимаем его именно как необычайное явление. Как чудо, великий дар России — ее народа — советской литературе!»

Читал отец все, что появлялось о поэте после его кончины. Большое впечатление произвели на него воспоминания А. Кондратовича, долгое время работавшего бок о бок с Твардовским. Кондратович и другие, говоря о редакторской объективности Александра Трифоновича, приводят такой случай. Твардовский как-то попросил членов редколлегии «Нового мира» прочитать одну предложенную для журнала поэму Леонида Мартынова; читал сам и дал «добро», хотя поэтическая манера Мартынова не была ему близкой. Так же поступал и Шухов: личную неприязнь никогда не переносил на авторов, не диктаторствовал, не злоупотреблял своим авторитетом, воздерживался от бесполемических решений, всегда советуясь с «ребятами», как он называл просторовцев.

Юрий Герт в своих воспоминаниях заметил: «Случалось, он говорил, обращаясь к Валерию Антонову, вследующему отделом поэзии:

— Как хотите, но я этого не понимаю! Не понимаю и не принимаю. Накрученено, паверчено,— черт знает что такое!.. А вам нравится? Даже очень?.. Хм-м... Ну, тогда забирайте и печатайте».

Другой сотрудник журнала Владлен Берденников, проработавший рядом с Шуховым пять лет, пишет, что

частью его сущности было уважение к чужому мнению, даже если это мнение резко расходилось с его собственным. Он вообще избегал навязывать свою волю и мнения другим. Но особенно тактичным становился, когда речь заходила о литературе, старался выслушать как можно больше людей, еще и еще перепроверяя свое собственное впечатление от той или иной присланной в журнал вещи. Он очень любил литературу, относился к ней до болезненности ревниво, жил и дышал ею и хотел, чтобы с ним работали такие же любящие, преданные этому нелегкому делу люди.

В последние годы «Простор» стал как бы его вторым домом. Иван Петрович часто появлялся в редакции задолго до начала рабочего дня. Люблю ранним утром прогуляться по тихим городским улицам, говорил он. Люблю парк имени Двадцати восьми панфиловцев. Тишина, зелень, чистый, прохладный воздух. И дышится легко, и думается лучше. А уж потом иду в редакцию, и время к восьми подойдет...

Бывший секретарь редакции Валентина Ивановна Архипова вспоминает: «Не раз бывало и так: прихожу на работу, а у меня на рабочем столе стоят цветы — белые ромашки. А когда обнаруживаю в кабинете Ивана Петровича такие же цветы — благодарю его.

Внимание к своему коллективу, забота о нем проявлялась и в том, как Иван Петрович упорно, настойчиво хлопотал о квартирах для сотрудников журнала: писал звонил и сам ходил неоднократно по этим вопросам надлежащие организации. Помогал устраивать детей ясли-сады. Словом, не отказывался ни от каких наши просьб».

В разные годы в гостях у просторовцев побывал многие интереснейшие, талантливые люди. Это — литераторы Юрий Казаков, Сергей Марков, Юрий Домбрский, Андрей Алдан-Семенов, Александра Александрова Есенина, ведущие актеры театра «Современник» Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Анастасия Вергинская, Елена Козелькова...

В последние годы работы отца в «Простор» поочередно печатались его повести «Колокол», «Трой чистом поле», «Отмерцевшие марева», ставшие последней, лебедиою песней. Составленный из этих вестей автобиографический цикл вошел в книгу «Горновские страницы» (Алма-Ата, «Жазушы», 1975),

торая двумя годами позже была удостоена Государственной премии Казахской ССР.

Развернутой рецензией откликнулся на повесть «Колокол» Габит Мусрепов, земляк и друг отца, хорошо знавший его на протяжении нескольких десятилетий. Высоко оценил «Пресновские страницы» видный украинский писатель Олесь Гончар, отметивший в статье «Сегодня и завтра» («Литературная газета», 1981, 24 июня) замечательную черту творчества Шухова — советского патриота, интернационалиста и гуманиста: «Я знал, конечно, об этом талантливом русском прозаике, но и для меня было на редкость приятной неожиданностью то, как искренне, по-чеховски душевно пишет он о монх земляках — переселенцах с Украины, которых судьба угнала на восток в далекие предреволюционные годы. Русский впечатлительный мальчик заглянул как бы в самую душу людям, переселившимся издалека, с восхищением открывая для себя красоту их песен, гуманность народных обычаев, музыку впервые услышанной речи. И с сожалением подумалось, что эти напоенные поэзией братства страницы у нас на Украине еще не переведены...» Книгоиздатели братской республики с готовностью откликнулись на эти слова: в 1984 году в киевском издательстве «Днепр» вышел сборник «Созвездие», в котором опубликован перевод шуховской повести «Отмерявшие марева». Намечено выпустить на украинском языке и другие повести цикла...

Вернемся к «Простору». 5 апреля 1973 года произошло важное событие — обсуждение журнала на заседании Секретариата правления Союза писателей СССР. В Москву прилетели почти все сотрудники редакции, а также первый секретарь правления Союза писателей Казахстана А. Т. Алимжанов. Председательствующий В. М. Озеров подчеркнул, что решение провести обсуждение республиканских литературных журналов, начиная с «Простора», было продиктовано именно его всесоюзной известностью.

Слово предоставили И. П. Шухову. «Формально мы отчитываемся за полтора года, но в этом месяце исполняется десять лет, как я пришел в журнал,— отметил он.— Все эти годы были посвящены поискам. Были, видимо, и какие-то находки, и неизбежные просчеты. Нам хотелось сделать такой журнал, который бы в какой-то мере читался не только в нашей республике, но и за ее пределами. Кое в чем нам это удалось.

Тираж журнала «Простор» сейчас несравним с тиражами прежних лет. Тогда он был около четырех тысяч экземпляров, а теперь наш тираж — тридцать тысяч экземпляров.

Вам понятно волнение, которое я сейчас испытываю, когда должен обсуждаться наш журнал.

Кроме того, я хотел еще сказать о том, почему меня волнует сегодняшний день. Вот в этой комнате, в этом кабинете я молодым встречался с Горьким, с Фадеевым, Щербаковым. И поэтому я каждый раз испытываю такое волнение, когда переступаю порог этой комнаты, этого кабинета! И мне хотелось вам об этом сказать.

Мы приехали сюда для того, чтобы послушать суждение о нашем журнале авторитетных товарищей, наших друзей, и сделать какие-то для себя выводы, проявить самое принципиальное, партийное отношение к той критике, которая, надо полагать, будет».

Свои мнения о «Просторе» высказали видные критики, прозаики, поэты В. Н. Хмара, Л. И. Лавлинский, В. Д. Оскоцкий, Ю. Н. Верченко, В. М. Кожевников, С. А. Баруздин, Р. И. Рождественский, М. К. Луконин, С. С. Наровчатов. Основной смысл высказываний: журнал производит хорошее впечатление, имеет свое лицо — видна культура редакторской работы. На его страницах — большая масштабность республики, журнал стал уникальным явлением, заслуга журнала — вывод на арену молодых; журнал стал незаурядным, имеющим свой колорит, а это нелегко сделать изданию, ограниченному в средствах и силах.

В заключительном слове Иван Петрович сказал: «Но что же. Здесь уже сказано то, что я думаю. Мне остается отвесить вам низкий земной поклон за доброжелательное участие в обсуждении нашего журнала».

Еще раз хочу сказать, что меня все это очень вспоминает (...).

Вот — впереди юбилей 20-летия целины. Я бы обнялся с просьбой к секретариату и всем литераторам России — приехать на целину и помочь журналу. Я очень просил об этом.

Еще и еще раз благодарю всех принимавших такое горячее, доброжелательное участие в обсуждении нашего журнала.

Мы постараемся учесть все совершенство спрavedливые замечания, которые были сделаны.

Постараемся практически в своей работе исправ-

те ошибки и просчеты, которые были у нас и еще есть.  
Большое, большое спасибо!»

Ретроспективный обзор деятельности И. П. Шухова — главного редактора «Простора» — хотелось бы завершить тремя характерными письмами.

«Дорогой Иван Петрович!

Дорогой друг, я обращаюсь к тебе с необычной просьбой. Очень прошу прочесть статью Станислава Рассадина. Правда, неловкостью для меня является то, что статья его частично обо мне. Но Рассадин талантливейший исследователь поэзии, он мой друг, и я хотел бы, чтобы его статья была напечатана в «Просторе», редактируемом тобой.

Я обещал тебе стихи. Может быть, скоро пришлю тебе их.

Желаю тебе, дорогой Иван Петрович, всего самого доброго.

Обнимаю.

Твой Кайсын Кулиев

7.1.69 г.

Москва.»

«Дорогой Иван Петрович!

Пишу Вам, мучаясь угрызениями совести. В самом деле — Вы напечатали в «Просторе» такую теплую, сердечную статью обо мне, а я все еще не собрался поблагодарить Вас. Не буду ссылаться на причины. Их много, но не в них дело.

Итак, примите сейчас мою искреннюю запоздалую благодарность. Я ведь не забыл и то, что если бы в «Просторе» не появился мой «Двойной портрет», он не мог бы появиться и в собрании сочинений.

Посылаю Вам мой новый роман — м. б., Вы о нем слышали? Это была трудная работа, отнявшая у меня четыре года. А то и больше, толком не считал. Буду счастлив, если он понравится Вам...

Крепко-крепко жму Вашу руку.

Ваш В. Каверин.

13.X.72.»

И — последнее.

«Дорогой Иван Петрович!

Примите мои самые сердечные поздравления с Новым годом. «Горькую линию» получил. Большое спасибо. Не читал лет 25. Как-то она сейчас звучит? И «Ненависть» Вашу жду. В свое время — и я говорил Вам об

этом — она на меня очень сильное впечатление произвела.

Хочу еще сказать Вам великое спасибо за «Простор». Были годы — мы охотились за ним...

Ваш Федор Абрамов  
31.12.75.»

Конечно, чтобы разбираться в огромном потоке присыпаемого в редакцию материала, уверенно ориентироваться в нем, выбирая ценное и отсеивая зерна от плевел, требовались большая эрудиция, тонкое, безошибочное литературное чутье. Все это у отца было, выработанное годами и десятилетиями творческого труда, напряженной, непрекращавшейся умственной работы.

Приходилось мне встречать высказывание о таланте самообразования у Есенина. Подобным талантом, несомненно, обладал и Иван Петрович. Вот что он писал 8 мая 1929 года из Ялты другу юности Василию Ефимовичу Квитко: «Часто смотрю на голубые воды, границы которых непостижимы для человеческого разума, и воспоминаю изумительную нашу встречу на пыльной степи по дороге. «Непревидимы пути твои, господи», — говорил Иван Бунин. Знаешь, Васенька, лучший это писатель которого забывают старики и которого не знают наши «безусые энтузиасти» в литературе. Ах, эти энтузиасти! Они пазубок знают авторские права, спешат печататься а не знают ни изумительных стихов Полежаева, ни бийского очарования, ни эволюции пришвинского мастерства, развернувшегося до идеальной простоты. Я раньше думал, что литература в сущности очень весел занятие, а теперь со страхом думаю о том, как трудно как много надо видеть и учиться для того, чтобы стать писателем нашей многогранной эпохи. Боязнь, конечно, неуместна, но все же как трудно и как много учил люди и как много следует учиться нам».

И он учился. Всю жизнь. Разве не о том говорят записи на полях множества прочитанных с карандашом книг? Помню такие пометки на страницах теперь устаревших, сороковых годов, тома «Войны и мира», пушкинского «Евгения Онегина», многих других изданий.

Привычка к чтению с карандашом оставалась у него до последних дней. Отдельные, чем-либо затронувшие фразы отец выписывал; так или иначе печатное слово, как правило, не оставляло его равнодушным — прикасало, а порою, напротив, отталкивало. Это понятие: «один из героев «Горькой линии», отец, сам любив-

«словечко вприкуску», не мог позволить себе небрежного обращения с языком и другим не прощал этого. Особенно бурно негодовал, если при чтении попадались уродливые названия типа: Брянщина, Рязанщина, Кустанайщина, с чьей-то легкой журналистской руки допущенные некогда в речевой обиход и, к сожалению, получившие ныне полные права гражданства.

Не признавал слова «учеба», еще в детстве поправлял меня: «ученение». И совсем уж не выносил слашавого глагола «кушать», теряя к тем, от кого его слышал, всяческое уважение. Претило ему, когда о мальчишках и девчонках говорили — «ребята»; сам он и говорил и писал — «дети», «ребятишки», а о молодых людях — «пребяты».

С иностранными словами обращался просто: по возможности обходился без них или переиначивал на собственный лад — автобус, телевизор; спутниковые таблетки «элениум» называл иронично — «липполеум».

И — были у него такие незасмные (вернее, заимствованные у народа, у станичных казаков, а ныне забытые) слова и выражения: бастбички (пирожки), обыгаться (правиться, прийти в себя), уросить, отстрадоваться, не в частом быванье, шель да шевель...

Все, чтоказалось отцу в искусстве и литературе поддельным, сердило его. Он с раздражением выключал радио, когда передавали некоторые псевдонародные, по его убеждению, песни или бойкие воронежские присевки с лихим девичьим «подыванием»; особенно возмущали его строчки: «На целинные земельки ты лети, мой голосок».

Зато настоящие народные песни он любил и в хорошие минуты, под настроение, с удовольствием певал в кругу одностаничников: «Вот мчится тройка почтовая», «Буря мглою небо кроет», «Ах вы, сени, мои сени», стариные казачьи «Артиллеристом я родился», «Хазбулат удалой...». С упоением слушал романсы «Я встретил вас...», украинскую народную «Дывлюсь я на небо», венгерскую «Журавли» («Ясным утром клик печальный снова слышу я вдали...»), русские вальсы в исполнении духового оркестра, марши «Прощание славянки» и «Тоска по родине». Из песен нового времени высоко ценил знаменного «Орленка», «Землянку», «Темную ночь», песню из фильма «По ту сторону» — «Забота у нас такая...». В восторге был от цыганских напевов. В «Пресновских страстицах» об этом можно прочесть: «Несказанно тревожили,

приводили в трепет, волновали меня и гортанные песни цыган Соколовского хора. Веяло от них дремучей древностью и в то же время — близким мне по духу — чем-то родным, нашенским. Седыми от ковылей степями. Мерцаньем далеких кочевнических костров в ночи. Печалью безлюдного полевого простора. И свободой. И волей. И горькой бесприютностью гонимого — невесть куда — перекати-поля...»

Любил отец фортепианную музыку, особенно Шопена, Бетховена, восхищался «Элегией» Рахманинова, которую стали у нас исполнять почему-то лишь в последние годы; отцу принесли однажды магнитофонную запись, и он включал ее еще и еще и, считая себя своего рода первооткрывателем этой чудесной элегии, спешил позвать к себе просторовских «ребят», чтобы — по давней привычке — поделиться с ними своей радостью.

После поездки в Армению на большие литературные торжества отец долго находился под впечатлением о сокровищницы древней армянской культуры — храм Матенадарана, от тихой, льющейся там словно из-под самих камней и стен невыразимо прекрасной, печальной музыки.

Оркестр русских народных инструментов имени Адреева, Уральский, Сибирский и Омский народные хоры, балалаечник-виртуоз Павел Нечепоренко, пианин Святослав Рихтер — их искусство доставляло ему глубокое эстетическое наслаждение.

Он и сам свободно импровизировал на аккордеоне, фортепиано, хотя и не знал нот. И в прежние годы, псу руки не утратили былой живости, мастерски играл балалайке, а в юности — и на гармонике.

В музыкальных привязанностях отца, как и во всем другом, было, конечно, немало чисто вкусов странного, такого, что в своей, домашней среде мы отсили к числу милых «невежеств». Он, например, не знал скрипку, совершенно не принимал балет, опер мог слушать только одну — «Евгений Онегин». Еже время, скажем, очень любил родственную скрипичную, всегда с интересом смотрел выступления ляда на льду.

Случалось, отец резко менял свои привязанности о тех или иных явлениях искусства и литературы. Из множества стихотворений Симонова любил давнее — «Ты помнишь, Алеша...», даже прощал в нем «

ленщину» — слово из рода тех, которые ни в каком ином контексте не терпел. Все это, вместе взятое, наверное, выглядит удивительно, хотя, если вдуматься, тут тоже по-своему сказывалась цельность отцовской художнической и человеческой натуры: он бывал переменчивым в мелочах, пустяках, но никогда — в крупном, глубинном, изначальном.

Обладал Иван Петрович и способностями позаурядного рисовальщика. Помню, как в детстве восторгали меня его живые, выразительные карандашные рисунки — разные звери и птицы, коты, березки, избушки с дымком над крышей; возникали они на бумаге с поразительной быстротой и безо всяких предварительных набросков.

Словом, природа подарила отцу не один лишь писательский талант. Сам же он говорил, что ему всегда казалось непостижимым наиболее абстрактное из всех искусств — композиторское, и признавался, что, умей он сочинять музыку, наверное, чувствовал бы себя счастливым.

Хотелось бы еще добавить, что музыку и пение он почитал только негромкие, камерные. Да и вообще не признавал в искусстве, в жизни и людях ничего напыщенного, кричащего, рассчитанного на внешний эффект. Однажды, зная любовь отца к крупным настенным календарям (их у него в квартире висело несколько), я сказал, что увидел большой красивый численник ввитрине одного известного ему газетного киоска. Он обрадовался и, не откладывая, в тот же день купил календарь. Это оказалось роскошное, сверкающее глянцем издание, выпущенное под эгидой ЮНЕСКО, иллюстрированное яркими видами Швейцарии. Однако, к моему огорчению, календарь ему не понравился, и он отложил его в сторону, сказав: «Тут все — горы да горы, а я их не люблю». А, впрочем, я этому особенно и не удивился, зная, что всякая заманчивая для многих мишура его, напротив, всегда отталкивала. Он, например, отлично со вкусом одевался, заказывал костюмы лучшим портням, но при этом избегал любых украшений — запонок, галстучных заколок и прочих блестящих безделушек.

Зато всегда его тянуло ко всему стариинному, «пушкинскому»; на столе в рабочем кабинете он держал пару красивых карманных часов, несколько гусиных перьев да детали оставшегося от лавных времен оригинального письменного прибора, каковой теперь можно увидеть,

пожалуй, лишь в музеях и фильмах по произведениям русских классиков. А на низеньком, хохломской росписи столике здесь же в кабинете лежали компактный, напечатанный на тонкой бумаге еще в прошлом веке томик Карамзина «История государства Российского» и «Евгений Онегин».

О книгах, составляющих скромную — два небольших шкафа — отцовскую библиотеку, постараюсь рассказать отдельно. А пока, мне кажется, будет кстати упомянуть о том, как Иван Петрович относился к вещам. И тут оставался верен себе: не заводил претенциозных, кричущих о своей цене наборов полированной мебели, создавал обстановку из чего придется, не исключая и сами заурядных изделий местного ширпотреба. Впрочем, что из полированных вещей в квартире все-таки имелось — импортный книжный шкаф, например, но хозяину ничего не стоило... вклюить в его блестящую стену обыкновенный гвоздь, чтобы повесить туда календарь.

Из принципа не покупал он также хрустальны фарфоровых сервисов, которые ныне хозяева стремя для престижа обязательно выставляют напоказ в гостини и единожды не извлекая своей музейной посуды из вантов и горок: как бы, упаси боже, чего не разбить. Отец же оформил сервант в собственном вкусе: сам примечательными вещами тут были — набор расписанных деревянных ложек, туесок из бересты (его он временем заливал водой, чтобы не рассыхался) да стоящий клык моржа, подаренный ему кем-то. И сидела на серванте и в кабинете всегда стояли стебелькиной полыни.

Единственное, за чем он постоянно охотился, эстампы; всякий раз он привозил их отовсюду: из китая, Ленинграда, из Таллина — города, к каким последние годы сильно привязался душой. Вот и кончины он говорил мне по телефону о желании побывать на берегах Невы, проехаться оттуда в Тихий морю. Как всегда, когда речь шла о каких-либо нарядах, добавлял осторожное: «Жив буду».

На эстампах в гостиной и маленьком кабинете бывшие хозяином, напоминавшие о милом его сердце Казахстане неброские пейзажи: сжатое пшеничное поле, стога, заметенные снегом избушки, берега свежем ветру. Есть и акварель; на ней — сельские лица летним вечером, на фоне заката — несколько стариков — старики, дети; семья крестьянинна вышла

сном посидеть на лавочке у плетня, отдохнуть после трудов праведных.

По просьбе отца, в последние годы друзья увеличили и вставили под стекло несколько редких, можно сказать, уникальных фотографий из его личного архива. Снимками этими он очень дорожил — подарены они были в разное время известными, духовно близкими ему людьми: поэтом Павлом Васильевым, сестрой Есенича Александрой Александровной, Алексеем Алексеевичем Игнатьевым — человеком необыкновенной судьбы, автором знаменитой книги мемуаров «Пятьдесят лет в строю». Отец очень ценил эту книгу, не единожды ее перечитывал, собирался в будущем написать об Игнатьеве в своем автобиографическом цикле и, вероятно, сделал бы это, если б не внезапная смерть. Он успел поведать о встречах с Алексеем Максимовичем Горьким, его женой и другом — Екатериной Павловной Пешковой, о дружбе, которая более сорока лет связывала его с семьей Есениных. Рассказал и о матери поэта Татьяне Федоровне, неграмотной, но одаренной, знаяшей многие стихи сына паузу и «с поразительно тонкой музыкальной чуткостью» подбравшей мотивы напевов к есенинским текстам. «Чаще всего,— пишет отец,— певали мы с Татьяной Федоровной, Александрой Александровной и мужем ее — Петром Ивановичем Ильиным такие есенинские стихи, как «Вечер черные брови насопил», «Есть одна хорошая песня у соловушки», «Голубая кофта, синие глаза». А позднее — полюбившуюся всем нам песню Павла Васильева «Ты скажи-ка мне, сестра», мотив которой мы сложили сами. Павел Васильев, часто встречаясь с нами, охотно присоединялся к нашему хору и подпевал своим «золотым, ямщицким, ярмарочным голосом».

Павлу Васильеву отец посвятил «Мою поэму»:

Мы знали годы гроз и зноя,  
Пожаров.  
Ливней.  
И смерчей.  
Разгул кулацкого террора  
Средь настороженных почей.  
Слиты были тупые пули  
В подполии и в нашу честь,  
Не разумею я — бог весть,  
Как нас тогда они минули!

Здесь все достоверно: в дневниковых записях Ивана Петровича, сохранившихся со временем его молодости,

сеть и пометка о готовившемся на него, разъездного корреспондента газеты, кем-то из кулаков покушении. Кстати, отыскался и характерный документ тех «ушедших в легенду годов», отпечатанный на бланке «Уральской областной крестьянской газеты».

«В Полномочное Представительство ОГПУ  
по Уралу  
Сотрудника «Крестьянской газеты» И. П. Шухова

### Заявление

Ввиду того, что мне — разъездному корреспонденту «Крестьянской газеты» — по роду своей службы приходится разъезжать по самым глухим местам Уральской области и нередко сталкиваться с лицами, которые не совсем доброжелательно, а иногда и враждебно относятся к работникам печати, считаю необходимым приобрести для себя оружие.

Прошу вас дать мне разрешение на право приобретения и ношения револьвера системы «браунинг».

За мою политическую благонадежность поручаются ниже следующие товарищи — члены партии, работающие в редакции «Крестьянской газеты»

Зам. редактора В. Орлов

Секретарь редакции А. Павлов

Пом. зав. отделом крестьянских писем П. Велик.

Среди редкостных фотографий отцовского архива находится и та, где он снимает вместе с Павлом Петровичем Бажовым, с кем сотрудничал во второй половине двадцатых годов в екатеринбургской «Крестьянской газете». Историю этого снимка Иван Петрович не рассказывал, и о «Крестьянской газете» той поры я узнал коечено, из интересной книги воспоминаний «Ушедшие годы» известного литератора и критика Марка Борисовича Чарного, которая также стоит на книжной полке в кабинете отца.

«В 1923—1924 годах — пишет Чарный — группа московской литературной молодежи была послана в Екатеринбург для укрепления уральской печати. Виктор Кин работал редактором комсомольской газеты, потом его сменил Владимир Ермилов; мой товарищ по институту журналистики и «Рабочей газете» Алексей Поликашин (журналист, поэт, позже известный писатель) был назначен редактором крестьянской газеты; Леопольд

Авербах, впоследствии руководитель РАПП, и я работали в «Уральском рабочем».

Между прочим, в «Крестьянской газете» Поликашина сотрудничал один старичок («старичок» — это по пашним тогдашним понятиям двадцатилетних), невысокий человек с окладистой бородой, тихой, неторопливой речью и добрыми глазами. Он был чуть ли не вдвое старше нас...

Помню, Алексей мне как-то сказал:

— Забавный стариик... Ты приглядись к нему. Целый день копается в крестьянских письмах, которые приходят в редакцию.

Это был Павел Петрович Бажов, в котором никто не подозревал тогда отличного писателя и кудесника народного слова».

Именно таким, как здесь описано, и выглядит Бажов на фотографии с двадцатилетним Иваном Петровичем, начинающим литератором, работавшим в «Крестьянской газете» разъездным корреспондентом.

...А как все-таки жаль, что отец не успел рассказать про Игнатьева! Ведь их связывало многое, о чем говорит и посвящение на подаренной Алексеем Алексеевичем книге. Эта надпись воспроизведена и на его фотопортрете: «Любезному Ивану Петровичу Шухову — родному по чувствам и к старой и новой героической Сибири. На добрую память от товарища по перу».

Сергей Есенин запечатлен в родной деревенской избе; молодой, элегантный, улыбающийся, он гадает на ладони похожей на него угловатой девочки-подростка в простом ситцевом платьице. Читаем под снимком: «Ваня! Ты меня помнишь чуть постарше, чем я здесь. Хочу, чтобы ты всегда меня помнил именно такой. 10. III. 64. Шура Есенина». С нею отец переписывался до конца дней и, приезжая в Москву, считал своим долгом навестить дорогую для него еще с юности, милую семью. В последний раз он гостил у Есениных весной 1977 года. Перед расставанием Александра Александровича, по русскому обычаю, передала с ним в Алма-Ату гостище — банку домашнего варенья. Прилетев домой, с трудом поднявшись на третий этаж (одолевала одышка), отец открыл чемодан, торопясь вручить московский дар, и... опешил: банка оказалась разбитой на мелкие осколки. Он растерянно и отрешенно посмотрел на нас, не зная, что и сказать: так остро, видимо, кольнуло его в ту горькую минуту тяжелое предчувствие. Произошло это лишь

за несколько дней до крайней черты,— последнего дня апреля. Смятение отца тогда мгновенно передалось и нам: уж очень необычной была его реакция на случившееся. Ведь раньше, когда ненароком билась в доме посуда, он только радовался этому, приговаривая: «К счастью!»

С квартиры этой он так и не съехал, хотя, из-за беспрерывного шума, жить в доме у перекрестка двух за-пруженных машинами улиц с каждым годом становилось все беспокойнее, а работать — труднее. Да, впрочем, здесь он почти и не работал; обыкновенно, когда писалось (чаще всего — поздней осенью или зимой) — уезжал в горы, на дачку возле Дома отдыха ЦК. Там создавались последние его вещи — повести «Колокол» «Трава в чистом поле», «Отмерзшие марева». А на книгой «Дни и ночи Америки» он работал в одной из комнат редакции «Казахстанской правды», любезно предоставленной на время близким другом, тогдашним редактором газеты Федором Федоровичем Боярским в стеклом, плотно населенном разными учреждениями здании на улице Советской. Несколько недель отец регулярно как па службу, являлся туда, а домой уходил позже всех, иной раз засиживаясь за машинкой до ночи. Книгу эту написал он на едином дыхании, с поразительной быстротой — так захлестнули его впечатления заокеанского путешествия.

О чувствах, какие испытывал перед той поездкой, написал мне из Москвы в письме, датированном третьем августа 1959 года. Вот выдержки из него:

«Здравствуй, Илюшка!

И порадовал и рассмешил ты меня хорошим своим письмом — спасибо. Перед таким далеким, феерическим путешествием мне особенно дорогое каждое слово близких, родных людей. Как, говорят, на чужбине стряется чувство любви к родной земле, так обострилось у меня чувство привязанности к дому, к семье тепла ожидания полета в такую далекую, загадочную страну...

Путешествие это очень волнует меня. Тем более я и мечтать-то прежде не мог о нем. И вдруг — пересе-пересез Атлантику. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, фало, Вашингтон, Сан-Франциско! Все это кажется лореальным, неправдоподобным».

Патетическая взволнованность не помешала ей в том же письме привести, разрядки ради, один а

канский анекдот об электронной машине: «Мистер Джек Смит спросил у машины:

— Прошу ответить, если уж ты такая умная, где сейчас находится мой папа?

Машина, пощелкав кнопками, ответила:

— Ваш папа, мистер, сейчас сидит босиком на берегу Гудзона и удит рыбу.

— Ну и — дура! Мой папа — Джордж Смит — сенатор от штата Огайо. Он сию минуту — в сенате, где произносит речь, а не удит рыбу!

— Это точно, мистер: Джордж Смит — действительный сенатор. Он сию минуту действительно произносит речь в сенате. А ваш папа все же ловит-таки рыбу на берегу Гудзона!

...Несмотря на быстроту своего появления, книга, по мнению читателей и критиков, оказалась достойной отцовского пера. Кто знаком с ней, знает, что тут своеобразно и свежо, публицистически накаленно и в то же время глубоко лирично переданы впечатления и раздумья об увиденном в совсем мало знакомой в ту пору советским людям заокеанской стране. И, думаю, вряд ли я смог бы добавить сейчас что-либо из тогдашних устных рассказов отца об удивительной поездке: книга вобрала в себя практически все. Помнится, он с большим одобрением говорил о простоте американцев, проявляющейся, в частности, в том, что многие молодые люди, выходцы из состоятельных семей, не чураются порой самого прозаического труда.

Еще одна черта, которая нравилась отцу в американцах,— динамичность, присущая, кажется, всем жителям этой страны, независимо от их возраста. Он и сам всю жизнь был на редкость энергичным, легким на подъем. Раньше он мог, например, утром прилететь из Москвы, а вечером того же дня отбыть в Петропавловск, чтобы спустя какую-нибудь неделю вернуться обратно. Ему хватало всего-навсего пяти часов сна, чтобы стать, как всегда, бодрым и собранным, прийти, как он сам говорил, «в форму». В последние годы Иван Петрович, конечно, стал ездить реже — сказывался возраст, но когда приходилось собираться в столицу или куда-нибудь еще, по-прежнему предпочитал самолет и, на скорую руку побросав в «чемоданишко» нехитрые свои пожитки, в какие-то полчаса бывал готовым к дальней дороге.

Последний раз он летал в Москву незадолго до кончины. А дело обстояло так. Позвонили из московского

издательства «Современник» и сообщили о включении «Нечавицти» в план переизданий в серии «Библиотека российского романа». В связи с этим просили скорее выслать расклейку книги, а также фотографию автора — такого-то формата. Но он в момент решил — лучше леть самому, чем заниматься скучной расклейкой. Утром следующего дня вызвал такси и уехал в аэропорт.

А вот несколькими месяцами раньше, осенью 76-го, его настойчиво пытались вызволить в Петропавловск на подготовленные по полному «картикулу» в областном масштабе юбилейные торжества в честь его семидесятилетия, но он все откладывал поездку, говорил: подожду, мол, когда ляжет снег, чтобы увидеть настоящую пресновскую зиму. Однако на торжества в Северный Казахстан он так и не поехал. Прощальным визитом в родные края оказалась его поездка в Петропавловск, Кокчетав и Целиноград незадолго до семидесятилетия, летом того же года — поездка, о которой, по отцовскому желанию во избежание возможной предъюбилейной шумихи, мало кто знал. Ему просто хотелось после долгой разлуки побыть наедине с дорогими с детства степями, озерам и березовыми колками своей отчей земли, своей «малой родины». Правда, полностью «законспирировать» та поездку все же не удалось, но он остался ею доволен как-то успокоившись, смягчившись душой, как это бывает у человека, исполнившего заветный долг перед с мим собой, перед своей совестью. Вернувшись домой, поставил на стол в кабинете стебельки свежей, сорванной на память где-то у степного проселка родной пепельно-серой полыни...

«Юбилейщину» же — со всей сопутствующей ей страстной атрибутикой — он не признавал. Десять лет назад свое шестидесятилетие тоже отметил пределы скромно, дома, в тесном кругу друзей-просторовцев.

Такие дружеские домашние вечера бывали постоянно, не зависящими от юбилейных или праздничных дат; они вызывались взаимной духовной близостью, требностью поговорить о жизни и литературе, послушать стихи, музыку (несколько лет в гостиной стояло взятое напрокат отличное пианино, на котором играл он сам, и кто-нибудь из гостей). И, бывало, не раз тал Иван Петрович «ребятам» восхищавшие его строчки Пушкина, Бунина, Павла Васильева... О переставал восторгаться спокойным, афористически ярким пушкинским:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Называл гениальной васильевскую строку: «И бежит в глазах твоих Россия...», способен был повторять ее снова и снова так же, как и другую: «Не матери родят нас — дом родит». Характерным, глуховатым голосом часто читал, немного персиначивая строчки, запомнившиеся мне благодаря этому с давней, школьной поры цеканные, полные внутренней экспрессии стrophы из поэм Васильева:

...Чтобы Иртыш,  
средь рек иных скитаец.  
Смыл тяжкий груз накопленной вины.  
На лицах чтоб  
не слезы оставались,  
А только яростные  
брзги от волны!

И еще:

Рыдает выпь.  
Звенят мечи осок.  
Я вновь пришел  
в знакомую мне  
местность,  
Где волны набегают  
на песок  
И чайки улстают  
в неизвестность.

Иногда под настроение вспоминал отец и задумчивое, печальное четверостишие Ивана Бунина — писателя, которого неизменно боготворил:

И ветер, и дождик, и мгла  
Над холодной пустыней воды.  
Здесь жизнь до весны умерла,  
До весны опустели сады.

С восхищением говорил о прозе Михаила Булгакова и Андрея Платонова, публикация новестией которого «Джан» была предметом особой гордости и его, редактора, и всех просторовцев.

...По всему было видно: люди вокруг отца собирались мыслящие, увлеченные, безгранично влюбленные в литературу и тонко, со вкусом разбирающиеся в ней. Как сказал поэт: «Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло...» И не только в редакционных

компатах, но и здесь, в непринужденной домашней обстановке, возникали интересные идеи, рождались творческие замыслы, которые находили потом воплощение на журнальных страницах. Наверное, все дело было в уважительной, дружеской атмосфере, располагавшей к доверительности, к шутке. Разговоры велись на равных, порой горяча высказывались не слишком взвешенные, размашистые суждения, которые тут же большинством голосов и отвергались. Но горячность сама по себе здесь не осуждалась, она была одной из характерных черт широкой отцовской натуры. Что здесь единодушно признали, так это честность, двурушничество, мелочность и чванливость.

Всяческий рационализм отцу был чужд, и шло это не от оригинальности, а от цельности, открытости характера, какой-то неисчерпаемой душевной щедрости, свойственной талантливым людям. Он ни к чему не относился расчетливо, не исключая даже собственного здоровья. В любой мороз и ненастье ходил без шапки, в лучшем случае, для успокоения совести, просто держал ее в руке. Дома не признавал никаких тапочек, с удовольствием разгуливал в квартире в носках, а чаще — босиком.

Помню, бывал очень недоволен, когда меня в детстве старались одеть потеплее: «И что вы его вечно ктаете?!» А в декабре 70-го написал моему старшему сыну: «С Новым годом, моя хорошая Андрюшка Шухари! Ради здоровым, нетрусливым. Не бойся ни холодных вод, ни дождя, ни пурги, ни морозов,— и будешь всегда счастливым, каким был я».

Единственное, пожалуй, житейское правило, которое отец соблюдал аккуратно — не пропускать по субботам или воскресеньям баню. Он не нарушал его, где бы оказывался. И хотя и дома, и в гостинице, где он останавливался, были хорошие ванные комнаты, это не имело дела. Ванну он принимал холодную, почти ледяную. А в конце каждой недели с утра клал в портфель березовый или в худшем случае дубовый веник и отправлялся по знакомому маршруту — в старую тесноватую баню, которую коренные алматинцы знают под наименем Турксивовской. Тут, во-первых, редко когда не валило пара, а, во-вторых, банищиком служил чудаковатый любчивый, простодушный, как дитя, малый неопределенного возраста по имени Тима. Кстати, он стал героем одного превосходного рассказа Габита Мусрепова. С

**мой связана удивительная история, вспоминаемая нами с улыбкой и грустью.**

Однажды, морозным и снежным днем, перед глазами изумленных прохожих предстала диковинная картина. По улице, не спеша, как ни в чем не бывало, шел невысокий седой человек в пальто, с портфелем и... босиком. Его повстречала одна знакомая техничка издательства и, видно, будучи слегка суеверной, окликнуть побоялась, а, придя на работу, поднялась в редакцию к моей матери и, потоптавшись у порога, спросила: «А как Иван Петрович — здоров?»—«Да ничего, вот недавно в баню ушел,— ответила та и тут же встревожилась.— А в чем дело?»—«Так видела я его сейчас на улице. Гляжу, а он без ботинок прямо по снегу ступает. Уж он, часом, не того ли?»

Мать тут же позвонила домой. Диалог состоялся такой:

- С легким паром!
- Спасибо!
- Ну, как баня?
- Великолепно! Напарился...
- А потом?
- Что?
- Домой-то как добирался?
- Обыкновенно — пешком. А что, уже донесли?
- Да видели тут тебя...

Отец рассмеялся и поведал историю, какая с ним приключилась. Пока он парился, какой-то ловкач стащил его ботинки, оставил вместо них свои, ясное дело, далеко не новые. Узнав об этом, обескураженный, растряплю улыбающийся Тима искренне сочувствовал, бестолково суетился, что-то бормоча себе под нос. И тогда отец, как мог, утешил бедного банщика, решив лучше остаться босым.

Но при всем том отнесся он к происшествию иронически, не возмущался, не обличал людских пороков, а, казалось, скорее был даже доволен, что пришлось ему волей-неволей совершить столь удивительную прогулку...

Узнай об этом медики, они, конечно, пришли бы в ужас: в последние годы у отца временами отмечалось обострение пневмонии. Ему, как водится, предлагали уйму лечебных советов, рекомендовали дышать морским воздухом, но он отмахивался, по-прежнему не признавал никаких санаториев, домов отдыха и домов творчества, за исключением, может быть, Переделкина, и только

единственный раз провел три недели на Рижском море. И еще бросил курить, во всем же остальном оставался верен своей «методе»: парился, ходил без шапки, а дома — босиком и на предостережения докторов говорил, чтобы они его не «путали», — так свято верил в природные стародавние житейские секреты.

В один из теплых солнечных дней его последней весны я позвонил ему и сказал, что хочу подарить только что купленную хорошую книгу «Очей очарованье» — стихи русских поэтов о природе. Я чувствовал, что этот сборник должен ему понравиться. И действительно, он не стал дожидаться моего визита, а пришел сам. Мы присели на скамейку в только что зазеленевшем сквере у Дома писателей, и я, обратив внимание, что отец этот его раздражил, и он почти сердито сказал: «А ты разве не знаешь, что у меня с легкими?» Я знал: несколько летами раньше он побывал в реанимации, после чего перестал курить, и все тогда как будто бы пришло в норму. В ответ мне осталось лишь сконфуженно проговорить: «Молчать». Он между тем полистал страницы, заметил светляя лицом, — встретились стихи Ивана Бунина, — и сказав спасибо за книгу, поднялся и стал медленно удаляться по боковой аллее. Я глянул вслед и вдруг почувствовал, как отчего-то защемило сердце. Этот наш разговор оказался одним из последних. А книга стихов с пушкинскими словами на обложке стоит среди других и в столь уж многих дорогих для отца книг в его маленько рабочем кабинете.

С такой же щемящей грустью смотрю и на тонкую книжку — «Маленький принц». Иван Петрович очень любил ее и даже выписал поразившие его мудрой своей простотой строки:

«— Откуда ты родом?

— Я из своего детства», — отвечает Маленький принц из сказки Экзюпери.

Все мы — родом из своего детства. И я вспоминаю — неблизкие ранние годы.

Впервые я видел отца во время войны, когда он сражался приезжал к нам на улицу Иссыккульскую. Позади это было зимой: почему-то запечатлелись в памяти добрые белые отцовские бурки. В восторг приводили меня и его военная форма. Прожил он в тот раз совсем недолго, да и жить-то, собственно, было негде: нас, всех алматинцев, в ту пору «уплотнили» — одна

пружеская чета занимала проходную комнату, а мы — мама, бабушка и я — ютились в другой, где стояла железная печка-буржуйка с длинной трубой, выведенной паружу сквозь отверстие в оконном стекле. Топили ее саксаулом, который получали по талонам и держали тут же в квартире, в маленькой, тесной кладовке. Жилось нам, конечно, как и всем тогда, нелегко — и холодно, и голодно, но с приездом отца в моем сознании крепко связалось ощущение праздника: в жизнь вдруг вошел столь и ужиний — веселый, крепкий, уверенный в себе человек.

Тогда я, кажется, впервые услышал и о Пресновке, а где это, что — о том не имел никакого понятия.

Познакомиться с отцовской родиной довелось мне сразу же после окончания войны. Отправились мы в Петропавловск вдвоем с мамой по железной дороге. Путь туда из Алма-Аты был намного длиннее, чем теперь, пролегал он стороной — через Барнаул, Новосибирск, — и подробности того многодневного путешествия мне, шестилетнему, естественно, не запомнились. Единственно, что сохранилось в памяти, — длинные встречные составы из открытых платформ, груженных танками, пушками и другой боевой техникой.

Да и тогдашние пресновские мои впечатления связанны были с недавно отгремевшей войной. Как сейчас, вижу поразившую мое мальчишечье воображение красивую, отливающую чернотой трофеем ракетницу, неожиданно обнаруженнюю мной в отцовском кабинете. Потом я узнал, что это — подарок воинов-сибиряков, к которым отец выезжал на Ленинградский фронт. Еще он рассказал, что в первую военную зиму отдал в армию свою новую машину — «эмку», ее перекрасили для маскировки в белый цвет, и на ней стал ездить один боевой генерал.

Этим, пожалуй, и ограничивались мои ранние сведения о жизни отца в ту тревожную и грозную пору. Теперь-то я знаю, что три военных года он редактировал пресновскую районную газету «Ударник», написал патриотическую повесть о доблести и отваге сибирских казаков — «Дым Отечества», занявшую, по признанию критиков, почетное место в одном боевом ряду советской военной публицистики вместе с произведениями Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Леонида Леонова, Ильи Эренбурга. Узнал я и о том, что отец часто выступал в периодической печати со страстными публицистическими

**ми статьями и очерками, вдохновлявшими советских людей на разгром ненавистного врага.**

Почти полгода в общей сложности провел он непосредственно на переднем крае — на фронтовых дорогах Эстонии, под Нарвой и Невелем, где, как сообщал весной 44-го, трижды попадал под «чудовищную бомбежку», около двух недель жил под артиллерийским обстрелом, «видел пепел от бывших городов и сел», видел сотни подбитых «тигров» и «фердинандов», тысячи плененных — «жалких и гнусных солдат армии обреченных», летал на истребителе с помощником командующего армией через Ладогу в израненный блокадный Ленинград и, испытав «чистый священный трепет при первом взгляде на суровый и строгий облик чудесных площадей и проспектов этого города-богатыря России», не мог «без волнения смотреть на осколочные шрамы на великолепных зданиях знаменитого Невского проспекта», на страшные руины Петергофа и Красного Села — некогда блестательных и великолепных мест, совершенно разрушенных немцами, проехал на машине сотни километров «по дорогам величайших битв».

Моей матери он писал оттуда: «Мы привыкли читать в тылу об ожесточенных боях, и наша человеческая восприимчивость притупилась. У нас там сложилось очень отвлеченное понятие о фронте, о битвах. Здесь, на фронте, все это приобретает сугубо конкретное, реальное, физически и психически ощутимое понятие. А это доступно только тем, кто ощутил весь этот сатанинский грохот и гул, всю эту адскую симфонию великой битвы. Сейчас, например, идет налет авиации противника на одну из из-зах дорог. Земля стонет — это в буквальном смысле слова — от взрывов авиабомб. Если за полтора часа вчера по одному из наших участков было выпущено свыше 18 тыс. снарядов, а подразделение, занимавшее этот участок, не только выдержало этот артиллерию, а затем перешло в атаку и разгромило фрицев...»

Возвратясь в Пресновку, отец вновь приковывал себя к письменному столу, месяцами просиживая за ним «буквально по 18 часов в сутки».

Не без гордости сообщал он в письме 8 февраля 43-го о том, что несколько его военных очерков были «опубликованы через посредство Совинформбюро в крупнейших газетах Англии и США», что закопчил повесть «Письма сибирским казакам», которая «получила очень высокую оценку Д. Заславского и печа-

тается сейчас в февральской книжке журнала «Октябрь» с одновременным выходом в Москве, в Гослитиздате». Главы из «Писем» звучали 2 и 3 мая 43-го года по Московскому радио. А в июне Новосибирск организовал по ним специальную передачу — радиокомпозицию для фронта.

Вскоре после выхода книги отец получил приглашение командования Сибирского казачьего корпуса. В этом соединении, по свидетельству Ивана Петровича, служили его «знаменитые земляки» — школьный товарищ Саша Песков — ныне генерал-лейтенант и его младший брат Генка — Герой Советского Союза, которые воюют сейчас на I Украинском фронте». Отца очень обрадовало и взволновало это приглашение, однако воспользоваться им он не смог: удерживала не прекращавшаяся все военные годы работа над новым романом, который фигурирует в его письмах под разными условными названиями — «Дорога на запад», «Русский роман», «Метель»... Эту работу он считал для себя основной и признавался: «Если бы не роман, я бы, разумеется, давно уехал в армию. А сейчас бросить рукописи — это для меня страшнее смерти...».

В июне того же года в письме из Пресновки отец извещал: «Работаю я горячо и много... Роман наполовину готов, а имени пока не имеет. Кажется, назову его так: «Мы из Сибири!» Написать, разумеется, хочется по-настоящему просто, искренне, хорошо. И мне думается, что такие страницы у меня в этой вещи найдутся... И написать с такой остротой можно стало только теперь, когда и сам многое пережил, перевидел и передумал, и народ наш предстал во всем своем величине в дни этих великих испытаний». Однако замысел этот в полной мере осуществить не удалось, лишь главы под названием «Метель» печатались в 1946 году в журнале «Сибирские огни».

Один из военных очерков отца представляет, на мой взгляд, особенный интерес. Опубликовала его североказахстанская областная газета «Ленинское знамя» 9 ноября 1941 года под названием «Вооруженные станицы». Вот он передо мной — этот выцветший, потертый на сгибах газетный экземпляр с карандашными авторскими пометками. Очерк большой, занимает всю третью полосу и четверть последней. Я не могу читать его без волнения, тем более, что мне посчастливилось быть лично знакомым кое с кем из тех краснокочан, о которых там идет

речь. Скажу об этом несколько ниже, а сейчас не могу удержаться, чтобы не привести отрывок, где пишется о том, как черным своим крылом коснулась Пресновки война:

«Навсегда запомню я знаменитый июньский полдень над просторной, видавшей виды станичной площадью. Пройдут многие годы, но никогда не поблекнут неповторимые краски и звуки этого дня, дня великого народного гнева, дня всенародных проводов моих земляков, друзей и односельчанок на фронт. Земля гудела от глухого гула конских копыт. Кони, зачуяв дальнюю дорогу, нетерпеливо танцевали под бравыми всадниками и, злобно грызя мундштуки, рвались с площади, битком набитой тысячными толпами готового на жертвы, на муки и подвиги, грозного от ненависти к фашистской нечисти народа.

Были и слезы. Чистые, благородные материнские слезы, слезы, облагораживающие и матерей и сынов, мужественно идущих в смертельную битву с самым подлым, с самым коварным, с самым нечистоплотным и варварским врагом. Это были священные слезы матерей, благословивших своих сынов на подвиг или на героическую смерть на поле брани. И не признаком слабости, трусости или малодушия служили в этот грозный час они. а источником мужества, доблести и геройства для сынов крепко целовавших своих матерей с походного стремени.

Я видел старую казачку, одну из подруг и сверстниц моей матери, провожавшую двух своих сыновей. Маленькая, как подросток, в старинной — темных тонах — казаковской шали, она стояла между своими рослыми, мужественными, загорелыми, смущенно и трогательно улыбающимися сыновьями и, улучив минутку, украдкой, спешно перекрестила их, сказав при напутственном благословении всего только три слова:

— Будьте, ребята, казаками!

Я слышал, как моя односельчанка, проводившая на фронт пять своих сыновей, казачка Ирина Сергеевна Дробычева, говорила одному из пяти — сыну Васе:

— Пятеро вас у меня, орлов. И все вы одинаково дороги моему материинскому сердцу, соколы. Ты из всех — меня самый младший. Благословляю тебя, кровинка моя, в поход и вот тебе мое последнее материинское слово: не страшись смерти на поле брани, смело иди в бой с трижды проклятым германцем, храбро дерись с этим

извергом за свою молодость, за Родину нашу, за мою покойную старость!»

...Шли первые месяцы войны. Еще впереди была героическая битва за Москву. И в преддверии великих испытаний осенью 41-го Ирина Сергеевна обратилась на страницах редактируемой отцом районной газеты «Ударник» к своим сыновьям с письмом «Материнское благословение». Она с гордостью сообщала, что дети, судя по их письмам, свято выполняли ее материнский наказ. Старший Николай сражался с фашистами под Ленинградом, а младший, Вася, с первого дня войны дрался с врагом на Западном фронте. «Сейчас он сражается на подступах к Москве, грудью защищая любимую нашу столицу».

Вот с этим «сыном Васей» — прошедшим всю войну, сыне здравствующим мылым, скромным человеком с застенчивой улыбкой — Василием Епифановичем Дробышевым, энтузиастом самодеятельного искусства, бессменным режиссером народного театра Пресновского Дома культуры, и пришло мие близко познакомиться.

В очерке «Вооруженные станицы» с любовью и почтением говорилось и о старых станичных казаках, участниках знаменитого Брусиловского прорыва 1916 года, которые в тот памятный июньский полдень также давали свое напутствие уходившей на фронт молодежи. Они крепко были в первую мировую германских вояк и теперь вдохновляли отеческим словом молодых воинов на ратный подвиг во имя Советской Отчизны.

Славил отец и «подлинных героев трудового тыла», сотни которых выросли в колхозных станицах Горькой линии за дни боевой уборки обильных хлебов. «И нет возможности, — писал Иван Петрович, — назвать все эти яркие имена. Но о их подвигах, о самоотверженном труде старых казаков, молодых казачек и казачат будет написано в будущих наших книгах и в песнях моих друзей, моих товарищей по перу». И свое писательское слово, данное землякам, отец сдержал с честью.

После войны отец бывал у нас только наездами, большую часть времени проводя в Пресновке или Москве. Зато несколько лет подряд, с началом каникул, он приезжал за мной, и мы улетали до осени в Северный Казахстан. Первое воздушное путешествие довелось нам совершить на стареньком американском «дугласе». Полет из Алма-Аты в Петропавловск тогда занимал целый день; посадки были в Балхаше, Караганде, Акмолинске,

дывали машину: перед у нее был, что называется — в ленешку. Потом, посокрушавшись, мужчины уже в сумерках откатили ее в гараж.

На другой день Михаил, как ни в чем не бывало, явился с утра пораньше, наспистывая, распахнул гаражные ворота и — я увидел это с террасы — точно осталбенел... И я вполне разделял его горе: новеньющую машину, с которой связывалось столько радужных мальчишечных надежд, было жалко до слез. Один отец, хотя и пострадал сильнее других (больше месяца не мог он потом ступить ушибленной ногой), отнесся ко всему удивительно спокойно, не сказал мне ни единого укоризненного слова, как всегда, веря библейской истине: чему быть, того не миновать.

«Победу» увезли на прицепе в Петропавловск, долго там ремонтировали, но к Ивану Петровичу она больше не вернулась: кто-то в городе слезно упросил его уступить автомобиль. Через год Михаил пригнал из Омска еще одну «Победу». Вот на ней-то, сидя на том же отцовском пальто, немало поколесил и я, только теперь — вдали от жилья, на вольном степном просторе.

Но поездки эти не были самоцелью. Они приближали меня к миру непышной северной природы. Перед ее лицом приходилось испытать всякое: попадать в сильную, наводящую ужас грозу, почевать в машине, застрявшей среди лесов на размытой ливнями дороге, спасаться в дыму костра от комариных туч. Во всем этом была своя романтика, и я в Алма-Ате сильно по ней тосковал, с нетерпением дожидалась лета: так тянуло меня к тем далеким березовым колкам, к чистым степным озерам, тихому полевому раздолью. Там мы ходили по грибы и ягоды, собирали низкорослую мелкую сибирскую вишню, кисловатую ярко-красную костянку, таящую маленькие заманчивые гроздья в траве где-нибудь на глухой лесной опушке, ароматную степную клубнику.

Мало в каких станицах, деревнях и аулах не довелось нам побывать во время наших ближних и дальних поездок по немеряным сельским дорогам. И всякий раз, еще издали видев сверкающую никелем облицовки машину, деревенские мальчишки принимались подпрыгивать от радости, громко скандируя: «Шу-хो-ва «По-беда! Шу-хо-ва «По-беда!»

Бывало, отец останавливался посреди села, зазывал мальчишек в кабину и, покатав их по улицам, высаживал — потрясенных, онемевших на миг от восторга и

счастья. Автомобиль трогался, и вслед нам до самой оконицы продолжали нестись ликующие ребячий голоса.

Особенно любил отец заезжать в село Усердное, к своему добруму старому другу — председателю местного колхоза Савве Григорьевичу Калугину. Самобытный, смекалистый, он прославился, между прочим, тем, что одним из первых в северных областях Казахстана заложил колхозный фруктовый сад — яблони, вишни, груши. Надежно укрытый от студеных ветров окрестными березовыми лесами, сад хорошо прижился и стал приносить хозяйству немалый доход.

А жил Савва Григорьевич так же, как и все односельчане: не чурался народных обычаяев, умел и поработать на собесть и душе дать отгул. Запомнилась его широкая, озорная улыбка. Отец считал его талантливым человеком и посвятил ему один из своих очерков. Восхищалася он и колоритным, «роскошным», как выразился в одном из своих писем, калугинским языком.

...Было мне лет тринадцать. Помню, однажды летним днем в Пресновку въехала незнакомая синего цвета «Победа». Она еще пылила из противоположного края по немощеным станичным улицам, а звонкий ребячий узун-кулак разнес эту новость во все концы. Отец знал, что скоро должен прибыть Сабит Муканов, предпринявший тем летом дальнее путешествие на родину из Алматы через весь Казахстан на собственном автомобиле. Мы вышли за ограду встречать гостей, и вскоре они подъехали. За рулем сидел знакомый нам приветливый, обаятельный мукановский шофер Турсун. А пассажиров было трое: Сабит Муканович и его сыновья — средний Марат и младший, мой ровесник, Ботажан, которого все мы, вслед за Иваном Петровичем, сразу же стали ласково называть Букашкой.

Муканов с отцом дружески обнялись, расцеловались. Веселый, оживленный, с нетерпением ожидающий встречи с земляками, гость тут же сговорил Ивана Петровича, не мешкая, схать вместе с ним. И спустя какие-нибудь два часа мы уже двигались кортежем из двух машин к родному мукановскому аулу.

Помню: справа — березовый лесок, слева — небольшое продолговатое озерко, а прямо вдоль дороги — два ряда не слишком-то примечательных, приземистых строений. Проследовав этой единственной пустынной улицей, остановились в конце ее у дома с деревянной крышей, с закрытыми наглухо выцветшими на солнце ставнями.

Здесь жил родной брат Муканова. Он показался на пороге — худощавый, скромный, улыбающийся.

И все в доме сразу же пришло в движение. У крыльца появились женщины с кумганами и полотенцами, и путники с удовольствием принялись умываться с дороги.

Мы провели в ауле несколько дней, сполна ознакомившись с традиционными обычаями казахского гостеприимства. Сабита Муканова и отца везде встречали с большим почетом, усаживали на торе — месте для особо уважаемых гостей. Мы с Букашкой тоже быстро освоились и чувствовали себя привольно. Аулчане приветливо нам улыбались; показывая на меня, говорили друг другу: «Шуховтын баласы» («сын Шухова»).

Заметив, что я с восторгом засмотрелся на коня, который из мужчин подсадил меня и махнул рукой в сторону ближнего березового леска: можешь, мол, прокатиться дотуда. Лошадь оказалась неоседланной, да и жокейского навыка у меня не было, если не считать двух-трех коротких верховых прогулок на смиришном, ленивом пресновском мерине Рыжке. Однако до леска доехал я благополучно. Конек мой не выказывал никакой прыти, и, несмотря на понукания, плелся почти шагом. Но стоило мне повернуть обратно, его словно подменили. Ни с того, ни с сего он вдруг взял с места в карьер. Не успел я опомниться, как он домчал меня до края аула. Близкий к отчаянию, чуя, что вот-вот при всем честном пародее слечу на землю, я плотно припал к лошадиной гриве и изо всех сил вцепился в нее обеими руками. Мучения мои кончились так же внезапно. Подскакав к знакомому дому, конь вдруг стал как вкопанный. Я был обескуражен, а мужчины для моральной поддержки одобрительно кивали головами, восклицая: «Жаксы джигит!». Хотя видок у этого «доброго джигита» был, понятно, далеко не бравый.

Здесь же в тот момент погодился и отец. Теперь уж не помни, что он сказал тогда, но то, что я не побоялся сесть на незнакомого жеребца, его обрадовало. А может быть, припомнил он себя, такого же маленького, и любимого сего коня Игеньку, о котором душевно поведал в «Пресновских страницах»...

...Недавно, после многолетнего перерыва, увиделись мы с Ботажаном Мукановым. Нет в живых наших отцов. И как-то само собой всколыхнулось былое, те несколько дней, что провели мы мальчишками вместе в ауле, и все, о чем я только что рассказал, представилось нам

бесконечно далеким, почти неправдоподобным. Позднее, уже в студенческие годы, довелось мне однажды задержаться в Пресновке до середины осени, увидеть прямо-таки пушкинские «в багрец и золото одетые леса», — увидеть и вблизи и с высоты. И что-то тогда так тронуло душу, что захотелось сказать об этом приподнято, в стихах. Они вскоре написались и даже, каюсь, увидели свет, но, хотя и были продиктованы искренним чувством, внешне получились какими-то слишком гладкими, и хорошо, что отец, занятый редакторскими своими заботами, их попросту не заметил. Но дело в другом — в эмоциональном настроем, в глубоком внутреннем отклике, который вызвала та новая — через годы — встреча с притягательным сызмальства отцовским краем, ставшим радужной частицей и моего собственного, далекого теперь уже детства. Значит, не были напрасными наши давние утомительные перелеты через весь Казахстан, вольные скитания по полям и лесам, почевки у одиночного костра на берегу и соленых и пресных, первозданно чистых степных озер... Да и как могли они быть напрасными, если рядом в ту пору всегда был отец и все вокруг благодаря этому озарялось каким-то особенным, мягким и привлекательным светом. От него словно исходили токи природной, непоказной доброты и любви ко всему существу в этом мире: к деревенским старикам и детям, к полевым травам и цветам, к шумным и нешумным летним дождям, к большим и малым озерам и колкам, к причудливым облакам, плывущим ввышине над степью. Все это было для него близким, кровным, с малолетства вошедшем в сердце, а потом, с юности, — во все, что бы ни создал за полвека литературной работы: в романы и повести, рассказы и очерки, поэмы и стихи. Подобное можно, конечно, сказать не только об Иване Петровиче. Но разве это имеет значение: каждая песня, говорят, хороша по-своему...

Специально, напрямую он моим «нравственно-эстетическим воспитанием» не занимался. Однако — не в том суть. Главное — я находился вместе, рядом с ним, в его стихии, и мне, мальчишке, этого было достаточно. Остальное свергалось как бы само собой, откладываясь в уголках сознания и неподволь, незаметно формируя душу.

И до сих пор, когда слышу любимые отцом живые пушкинские строки:

Вся комната янтарным блеском  
Озарена. Всеселым треском  
Трещит затопленная печь...

вспоминаю — маленький кабинет в пресновском доме, отца, с удовольствием наблюдавшего, как пылали в железной печи-камине жаркие березовые поленья, бросая на потолок и стены быстрые неверные блики. А за окном шумели тополя и клены, и сквозь их листву светело большое пресное озеро, которое и дало название станице.

В нем отец любил плавать, особенно — в непогоду, при сильной волне, что требовало немалой закалки и смелости, или, напротив, в тишине, рано-рано, когда на зеркальной поверхности озера лежали красноватые отсветы утренней зары, или на закате, почти в сумерках, когда вода становилась мягкой и теплой, как парное молоко. Он рассказывал, что раньше раз или два переплывал озеро. Мне это казалось фантастическим: другой берег отстоял так далеко, что на нем едва можно было различить темную полоску изб соседствующего с Пресновкой села — Михайловки.

Иногда мы ходили туда прямо по берегу в гости к родственникам — Аксинье и Петру Ширяевым. Жили они потихоньку, имели, как и все, огород, вели кое-какое приусадебное хозяйство. Петро — человек бывалый, но тихий, даже чуть замкнутый, воевавший еще в первую мировую, служил сторожем в райбанке, в свободное время понемногу рыбачил. Встречали они нас всякий раз приветливо, с радостью. Своих детей у них не было, и тетя Сина позволяла мне вволю полакомиться в огороде нехитрыми дарами здешней земли: крыжовником, горохом, бобами, хрустящей сладкой морковью. Сама она тоже хлопотала среди грядок: накапывала картошки, ссыпала — какие повесомей — огурцы и помидоры и убегала в избу — готовить угощение. Гость с хозяином между тем устраивались на серых от времени ступеньках пиньского крыльца, закуривали, мирно беседуя о чем придется: о деревенских новостях, погоде, рыбалке, о видах на урожай.. Потом тетя Сина приглашала в горницу, к маленькому, уставленному закусками столу, и... до сих пор памятен мне вкус ее мягких морковных шанежек, глянцево блескивающих на свету солнечных груздей, ароматных, прямо из печи, пирогов с нежными, распаренными, сегодняшнего улова карасями...

В сумерках зажигали подвешенную к потолку керо-

спиновую лампу и принималась с настроением, вполголоса петь старинные казачьи песни. Петро постепенно оживлялся и, вспоминая неспокойную молодость, громко (он был глуховат) затягивал лихую солдатскую:

Артиллеристом я родился,  
Артиллеристом вырос я.  
Огнем-картечью я крестился  
И черным пламенем вился..

Звучала она с таким задором, что мне навсегда запомнились не только слова и мотив, но даже, кажется, все интонационные оттенки, хотя услышать ее с тех пор больше ни разу не привелось.

Навещали и другую — пресновскую — родню: стариков Семена Егоровича и Агринпину (отчества не знаю: звали ее просто — Грапа) Шуховых, живших неприметно на окраине станицы в тесноватой избушке с тусклыми оконцами, с неизменной русской печью, полатями за выцветшей ситцевой занавеской, геранью на беленных известью подоконниках, с разнокалиберными фотографиями в рамке под стеклом и лампадкой в переднем углу, с приколотыми в простенках — для красы — бумагами плакатами о передовиках сельского хозяйства и пожелтевшими вырезками из «Огонька» и «Крестьянки». Старики были какими-то покорными, ласковыми, они незлобиво подшучивали друг над другом, и лица их при этом светились тихой нежностью и добротой.

Теперь ни Семена Егоровича, ни Петра Ширяева давно уже нет на свете...

Л в те дни они еще казались крепкими и иногда по субботам приходили к нам — попариться в баньке. Это служило одним из первых деревенских удовольствий, тем более, что банька в отцовском саду была особенная: деревянная, чистая — настоящее чудо по сравнению с приземистыми, тоянущими по-черному мазанками из самана в подворьях большинства тогдашних пресновских жителей.

И — так уж повелось — никто, кроме отца, в «первый жар» не ходил. И я гордился тем, что он брал меня с собой, приобщая к своей богатырской забаве. Но, по правде говоря, мне, горожанину, она явно оказывалась не по плечу. Переступив порог, я тут же плюхался на пол, где кое-как еще можно было дышать, прихмелился насекоро мыть голову щелоком и, быстро ополоснувшись, радуясь, что уцелел, выбирался на белый свет. А отец,

поддавая жару, выплескивал в раскаленный зев каменки очередной ковш воды, отчего дверь иной раз вышибало пастежь, взбирался на полок и там, в немыслимом влажном сумрачном пекле, принимался яростно, до красноты, кряхтя, нахлестываться березовым веником. Потом он выливал на себя ведро холодной воды, высакивал на минутку в предбанник перевести дух и снова лез на полок...

Вечером, по «второму жару», направлялись в башню гости. А тем, кто послабее, хватало тепла и на другой день. И любо было потом, в сумерках, придя в себя, посидеть всем вокруг большого старинного, в гербах и медалях, добродушно воркующего самовара...

Конечно, и пресновчане нередко приглашали Ивана Петровича. «Был вчера в гостях у Денисовых, на именинах Ванюшки,— записал он однажды.— В избушке было негде повернуться от гостей. Были все врачи, приглашенные Ванюшкой женой, работающей в больнице. Затем — продавец сельпо, заведующий промартелью, директор автоотряда и еще какие-то люди. Угощали рыбными пирогами и зеленою водкой. Словом, было чудно. Анна Варламовна при белом фартучке была совсем бесподобна. МХАТ! МХАТ!»

Словом, все здесь ему было бесконечно мило и дорого: обычай дедов и прадедов, их своеобразный бытующий и поныне говор, хлебородная, воздающая человеку добром земля.

В одном давнем письме из Пресновки отец признался: «Только при взгляде на притихшую степь под синим, на скованное льдом, умолкнувшее наконец озеро, на синюю кайму далеких рощ удивительно хорошо и легко становится на душе. Милый, благословенный край. Хорошо, что ты наградил меня чувством сыновьей любви к тебе и благословил меня на вечные муки в поисках слова, которым смог бы я выразить эту любовь хотя бы из одной из тысяч написанных мною страниц...»

Не следует представлять себе пребывание Ивана Петровича в его родных «пешатах» как некое безмятежное «пейзанство».

Еще совсем молодым, выступая на Пресновском районном съезде Советов (текст этого выступления напечатала газета «Карагандинская коммуна» 30 ноября 1934 года), Иван Петрович, только что вернувшийся из Москвы с Первого всесоюзного съезда писателей, деревенский свойственный отчет перед земляками, говорил о вы-

соком назначении советских литераторов, призванных рассказать в своих книгах о всем замечательном, ярком, небывалом, интересном в нашей стране».

«...Я не преувеличивая скажу, что для меня, делегата этого исторического съезда, дни, проведенные в Колонном зале Дома Союзов, останутся одними из самых ярких дней моей жизни. Съезд писателей показал, что литература уже стала делом народной массы, на смену писателям дворянства и буржуазии пришли замечательные, могучие таланты из низов рабочего класса и колхозного крестьянства.

Маленький пример. Замечательный писатель прошлого Чехов, будучи признанным мастером художественного слова, издавал свои сочинения в количестве двадцати пяти тысяч экземпляров, и это в то время считалось небывалым явлением.

Тиражи, то есть количество экземпляров наших передовых книг измеряются сейчас миллионами.

Я не без гордости доложу съезду моего родного района, что книжка моя «Ненависть» за два года выдержала восемь изданий и тираж ее достигнул за этот короткий срок 800 тысяч экземпляров...»

Далее он остановился на культурном строительстве в районе, с удовлетворением отметив рост благосостояния семей колхозников, в то же время подчеркнул, что «культура заключается не только в вещах» и что «надо культуру создавать и в человеческих отношениях». «Почтительность, уважение молодого поколения к старшим товарищам, заботливая предупредительность детей к своим матерям и отцам,— подчеркнул он,— это тоже культура.

Надо учиться уважать людей. Надо учиться быть внимательным к тем, кто заслуживает этой внимательности. А у нас еще молодежь наша зачастую щеголяет своим высокомерным пренебрежительным отношением к старикам. У нас много еще мерзкого, отвратительного, вредного в наших человеческих отношениях, много того, что унаследовали мы от мрачного прошлого и с чем надобно повести самую жесткую, непримиримую, самую мужественную большевистскую борьбу.

Удивительно остра и актуальна концовка того отцовского выступления. «Меня часто спрашивают,— говорил Иван Петрович,— почему я живу в деревне, не в Москве, где как будто полагается жить настоящим писателям, и почему я живу именно в Пресновке... Отвечаю: я живу

в деревне потому, что пишу о деревне. А для того, чтобы хорошо и правдиво писать о деревне, надо хорошо знать ее. Для того же, чтобы хорошо знать ее, не следует от нее отрываться, надо ежедневно наблюдать за ее огромным, небывалым расцветом. В том и беда наших многих писателей, что они не понимают этой великой и простой истины. Сидя в Москве или выезжая в деревню на неделю, они не слышат настоящих ее голосов, они не видят настоящих людей ее, а потому-то герои в их книжках получаются неправдоподобными, выдуманными, ходульными.

Партия и правительство нам, советским писателям, дали все и отняли у нас, как было сказано на съезде писателей, единственное право, это право плохо писать. Нам созданы все условия для того, чтобы мы добросовестно относились к своей работе. Одного таланта для того, чтобы стать писателем, мало. Для этого нужна большая культура. Для этого нужна огромная работа, огромное терпение, длительное и упорное изучение того материала, над которым мы работаем.

Мы создаем образы передовых людей нашей эпохи, мы создаем образы, по которым должны учиться наши будущие поколения, с которых они должны брать пример. Это значит, что мы должны писать о лучших людях и, как говорят, обобщать, то есть собирать из многое лучшего самое лучшее, самое яркое. Полем моих творческих наблюдений является в данном случае наш Пресновский район. Здесь я должен писать лучших людей для того, чтобы рассказать об этом всей стране, всему миру, ибо книги наши читаются с таким же огромным интересом и за границей.

Живя многие годы в Пресновке, он не чувствовал себя сторонним наблюдателем, не замыкался в узком мире «за голубым забором», откликаясь сердцем и страстным писательским словом на то, что волновало его земляков. Тогда, скажем, в глубинке еще не слышали такого понятия — «экологическая проблема», но сама эта проблема успела обозначиться там со всей остротой. Речь — о том самом, чудесном, некогда прозрачном и чистом, богатом увесистыми окунями и серебристыми карасями станичном озере, в короткий срок загрязненном промышленными отходами. О заброшенном, обреченному на гибель парке. О беспорядочной, портящей облик станицы и небезопасной (в прошлом здесь дважды случались опустошительные пожары) застройке квартала.

жоп и площадей. О ранее знаменитом Доме культуры, полностью утратившем свою былую славу из-за равнодушного отношения тогдашних районных руководителей. Об их столь же странном безразличии к памяти выдающегося ученика, уроженца Пресновки Григория Николаевича Потанина... Ох, и крепко же «выдал» им за все это Иван Петрович в одном из очерков 54-го года — «В далекой нашей станице...»! Он с накалом писал: «Непонятно, как могут у нас иные руководители совмещать столь нетерпимое равнодушие к жизненно важным вопросам культуры и быта трудового народа со своими пламенными речами об историческом значении решений сентябрьского Пленума Центрального Комитета нашей партии! Худо, когда слово расходится с делом!» Такое мог высказать лишь писатель-гражданин, кровно болеющий душой за большое общенородное дело.

Не утихающее с годами чувство любви к родному краю озарило ясным внутренним светом последние отцовские повести из задуманного уже на склоне лет цикла «Пресновские страницы» — светлых, щемящих, «как далекий благовестный перезвон лебединых стай на застенчивом раннем весеннем рассвете» воспоминаний о детстве, об отчим доме, о родимых задворках — надежном пристанище нехитрых деревенских забав и игрищ, о простом, нелегком, заключающем в себе доброе нравственное начало крестьянском труде. Неспроста отец и мне, и моему старшему сыну Андрею не раз напоминал о том, что он в десятилетнем возрасте уже помогал взрослым на пашне, работая бороноволоком. Жаль только, мало рассказывал о людях, которые его тогда окружали: видимо, берег это до поры до времени. Помнил же он тех давно ушедших в небытие людей отчетливо, со всеми подробностями и спустя десятилетия оживил пером художника на страницах своих поэтических мемуарных повестей, которые — так уж распорядилась судьба — стали его прощальной, лебединой песней.

Замечу, кстати, что, по авторскому замыслу, «Пресновские страницы» должны были в дальнейшем выйти за рамки воспоминаний детства и стать, может быть, широким повествованием о встреченном, прочувствованном и пережитом за годы и десятилетия работы в литературе. Но, увы, — песня оборвалась на полуслове, и тут уж ничего не поделаешь. А как прекрасно, как полно могла бы прозвучать эта песня! Он сам изумленно воскликнул иной раз: «Ведь, черт знает, каких я знал людей!» — и

говорил, что должен когда-нибудь высказать свое и  
ним отношение. А отношение это бывало у него всегда  
своеобразным, неказистым, отходящим от всяческих стан-  
дартов, потому что основывалось на чистом, как у ре-  
бенка, непосредственном восприятии. В своих отзывах  
он избегал общепринятых характеристик, и неинтерес-  
ными для него оказывались — безотносительно к зва-  
ниям — только люди без «искры божьей», мелочные и  
корыстные; к талантливым же он причислял не обяза-  
тельно представителей сферы искусства, интеллектуа-  
лов, а всех, в ком видна была душевная широта, откры-  
тость и щедрость. Быть на земле человеком — вот талант,  
который ценил он превыше всего.

А что до знаменитостей... Наверняка написал бы о  
Бажове, который, как и Горький, был для него в начале  
пути, словно дар небесный. О Серафимовиче. Пришви-  
не. Замойском — авторе одного из его любимых рома-  
нов — «Подпасок». О легендарном Матэ Залке, с кем  
встречался в Москве в кулуарах писательских съездов  
и у общих знакомых. О Лидии Сейфуллиной. Артисте  
Андрее Абрикосове. Композиторах братьях Дмитрии и  
Данииле Покрасах, с которыми сблизился в середине  
30-х годов во время совместной работы над фильмом  
«Вражьи тропы» по его роману «Ненависть». О Сергеев  
Маркозе. Кайсыне Кулиеве. Юрии Казакове...

Не раз беседовал отец с Александром Фадеевым, ко-  
торый принимал заинтересованное участие в его писа-  
тельской судьбе. В письме из Москвы от 24 декабря  
1948 года Иван Петрович, в частности, приводил ска-  
занное ему при встрече Фадеевым: «Я полагаю, что обе  
вещи (романы «Горькая линия» и «Ненависть» — Ил. Ш.)  
следует издать в однотомнике. Это ты заслужил. Обе ру-  
кописи буду читать сам. Обещаю сделать это быстро.  
А ты поживи в Москве. Это полезно и для тебя лично,  
и для общего нашего дела — для литературы. Сам зна-  
ешь, писателей у нас немало ходит вокруг да около  
литературы, а талантливых не акти как много. Ты же —  
наш. Тебя много и несправедливо обижали. Это я знаю.  
Не следуешь много думать об этом. Работать надо. А ты  
можешь работать. Работай. Мы тебя поддержим... Обе-  
щаю».

Замечу, что в сборниках воспоминаний о писателях  
встретилось мне немало интересных подробностей, ка-  
сающихся взаимоотношений Ивана Петровича с некото-  
рыми из них. Не единожды, например, называется имя

отца и в сборнике «Сейфуллина в воспоминаниях современников». Один из авторов — Савва Кожевников приподнял слова писательницы о ее любимом журнале «Сибирские огни», сказанные в 1946 году: «Меня обрадовало, что «Сибирские огни» в новом своем выполнении встали опять на хорошую, глубокую почву, нашли настоящий, серьезный, строгий тон». О художественном мастерстве Ивана Шухова Лидия Николаевна отзывалась так: «Какие чудесные типы им нарисованы! Это — скульптура, лепка».

Отец с интересом читал мемуары — и писателей-классиков, и своих современников, но взгляд на такого рода литературу имел особый. У него всегда вызывало недоверие, когда авторы воспоминаний, ведя речь о днях давно минувших, слишком уж точно, дословно приводили обширные диалоги и монологи, будто с юных лет всю жизнь только и занимались коллекционированием и консервацией на длительное хранение собственных и чужих высказываний. Отцу претил подобный рационалистский, регистраторский подход к творчеству, и он, казаясь своего заветного литературного замысла, отмечал, что не будет буквально восстанавливать разговоры со знаменитыми собеседниками, а постараётся передать вызванные ими впечатления.

...Вернусь к «Пресновским страницам». Читая их, будто наяву слышу отцовский голос с его характерными интонациями, неповторимой окраской: тут что ни слово, что ни присказка,— все такое живое, неподдельное и такое знакомое; без этих словечек «вприкуску» не мог он обходиться даже в обыденной, повседневной речи. Как-то по-своему, без сююканья умел разговаривать с детьми, и те постоянно отвечали ему привязанностью и дружелюбием. Это давало ему право на полушутилковое признание: «Все собаки и дети меня всегда любили». Памятны мне сго шутливые присловья: «Верю, верю всякому зверю — и волку, и ежу, а тебе погожу»; «Встань передо мной, как лист перед травой!»; «Слушаю приказ, пока при вас»; «Здрасьте, я вас не узнал!»; «Опять за рыбу деньги!»; «Сентетюриха телегу продала, на те деньги балалайку завела».

В детстве отец, бывало, забавлял меня так: легонько пошлепывал по нижней губе — это называлось у нас: «поиграть на билиндрясах» — или прикасался к кончику носа и спрашивал: «Чей нос?» — на что я, только и ожи-

шалось:

- Где был?
- Славил.
- Что выславил?
- Конечку.
- Куда дел?
- На базар отнес.
- Что купил?
- Конфетку.
- Куда дел?
- Съел.
- С кем?
- Один.
- Ах, один?!

И под общий хохот отец устраивал мне, «провинившемуся», шутливую трепку, впрочем, великодушно позволяя отбиваться и давать ему сдачи. Точно так же, спустя три десятилетия, играл он уже с моими сыновьями Андрюшкой и Сашкой, которые, по его воле, звали его не иначе, как только — Иван. В свою очередь, он спрашивал о них: «Ну, как там Чук и Гек?»

Однажды я заметил про своего младшего: мол, папень он не по возрасту смекалистый и с характером, не то что старший — беспочвенный фантазер и мечтатель. Отец помолчал немного, а потом в задумчивости сказал: «Ну и хорошо... Пусть будет больше разных характеров».

В большом неопубликованном наброске к «Пресновским страницам», обнаруженному лишь в последнее время, отец пишет о своем первом, раннем знакомстве с литературой, с книгами. Пишет с усмешкой, полувсерьез: литература-то это бывала всякая, и читывал ее сосед — «книговозлюбитель» дедушка Арефий вслух «...сконом. Подряд. Без выбору. Без разбору... Снабжали же его этими книжками одни и те же — давние его дружки — горожане курганские, пребитские или шадринские книготорговцы. Мужики — расторопные. Продувные. Веселые. Говоруны. Прибаутчики. Краснобай...

...Тут были и «Жития святых». Это — про Сергия Радонежского. Симеона Столпника. Варвару Великомученицу. Феодосию и Хевронью Печерских. А еще — сочинения графа Салиаса — «Пугачевцы» и «Петербургское действие». Потом — «Похождения разбойника Ивана Чуркина», «Трагедия французской королевы Марии

Антуанетты, или Царский каприз». Захватывавшие дух у слушателей приключения знаменитого сыщика Шерлока Холмса. «Невинная девственница в омуте разврата». Письмо Льва Толстого императору Николаю II. А также еще и правоучительные графские сказания — притчи для народа — «Много ли человеку земли нужно?» «Разговор с прохожим». «Свечка». «Сказка про Ивана-дурaka и двух его братьев».

Попадались под проворную руку дедушки Арефия — в числе этих сочинений — самые разные, спросовые в народе «Песенники». Тут были и «Песни Сибирского казачьего войска». И — «Ухарь-купец». И — «Тройка борзыx». И — «Ванька-ключник». И — «Маруся отравилась». А также — не менее расхожие «Письмовники» — образчики различных казенных прошений, шутейных и полюбовных посланий. Поздравительные стихоплетения по случаю Дня ангела родителей. И тут же — стихотворная матерщина Ивана Баркова...

Кроме всей этой разномастной книжной рухляди водились у дедушки Арефия и книжки — особые. Заветные. Береженые... Это — «Конек-горбунок». «Князь Серебряный». Псалтырь. И стихотворения Ивана Никитина».

Об этих сочинениях, пишет дальше отец, он и его сверстники Пашка и Тронька слышали, однако не от самого Арефия, а от прадедушки по материнской линии — Клима — «рослого, совсем не в нашу породу — старика», полного Георгиевского кавалера, который был участником русско-турецкой кампании и «дрался под знаменами Скобелева на Балканах». Арефий жил по соседству, и зимними вечерами дедушка Клим, винная его чеплю, благодаря своей редкой памяти, многое запоминал по слуху наизусть и будучи «вчистую неграмотным», слыл на диво всей станице вдосталь начитанным. Кроме того, дедушка Клим, в отличие от малоразборчивого «книговоза-любителя», имел, говоря по-нынешнему, неплохой литературный вкус и «не раз читывал... наизусть, без запинки — страничку за страничкой — озорные — как веселый балалаечный наигрыш при ярмарочной карусели — живые, летучие строчки про Конька-Горбунка. А то еще и — особенно любезные стариковскому сердцу — стихосложения Ивана Саввича Никитина — про неведомого нам бурлака. «Эх, приятель, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой! Нет, послушай-ка ты, что вот я испытал, так узнаешь о жизни тяжелой!»

Но с особой душевной охотой читались нам в такие минуты старым нашим наставником... сокровенные стихотворные раздумья все того же любимого им сочинителя — на этот раз — про соху. «Ты, соха ли, наша матушка. Горькой бедности помощница. Неизменная корынтица. Вековечная работница!»

Даже про Льва Толстого узпали дети — «про этого тульского мужика с графским титулом», который особенно пленил дедушку Клима тем, что «хоть он там, скаживаю, тыши всяких книг сочинил, а земных, житейских делов не чурался. Сам себя — своими руками обиживал...»

И кто знает, глубоко или не очень задевали в ту пору мальчишечные умы и сердца бесхитростные стариковские беседы, но, что касается отца, могу сказать определенно: сочинения, узнанные в детстве, полюбил он до конца дней. И еще — с полным правом позволительно отзваться о нем теми же самыми дедушкиными словами: «Сам себя — своими руками обиживал».

А о том, какой великолепной школой живого народного языка служили для него, сызмальства чуткого к слову, вольные дедушкины речения, отец хотел — и начал — писать, что называется, открытым текстом. Вот этот динамичный, лукавый, неповторимый по звукописи отрывок.

Дедушка Клим (завершая очередную свою устную историю):

«— Нет уж, отец владыко, нашенского попомаря никому не перепономарить!

— А нашего чеботаря никому не перечеботарить! — подбрасывал тут старику и свою скороговорку, озаренный озорной усмешкой, настырный Пашка.

— На дворе трава, на траве дрова! — радостно всклицал — как палил из фузей — встрепенувшийся, словно спросонок, Тронька.

— Из-под топота копыт пыль по полю летит! — не отставал от внезапно вспыхнувшего меж нами словесного состязания в скороговорках — даже и я.

И тут, окрыленный жаром нахлынувшего вдруг на него азарта, Пашка, как бы забыв о присутствии дедушки, мигом подключил нас с Тронькой — вне всякой связи с предыдущим разговором — к иной нашей, уже ведомой нам — по его же науке — потешной игре. Тоже словесной. С недельными, бойкими прибаутками.

Мы — я и Тронька — так были заранее вымуштрованы —

вани в этой игре нашим свирепым наставником — Пашкой, что роли свои знали пазубок и...» На этом текст обрывается. И какой текст! Сколько радости мог бы он доставить почитателям писательского таланта, сколько ценного мог дать для познания его первоначальных жизненных и художнических истоков!..

...Гляжу на этот недопечатанный лист и с какой-то особенной остротой и болью ощущаю тяжесть и невосполнимость понесенной потери. А память заставляет меня снова перенестись мысленно в Пресновку времен моего детства, снова увидеть отца,уважаемых им тамошних стариков и моих, таких же, наверное, как Пашка и Тронька, бойких закадычных деревенских друзей-сверстников. Да, благодаря отцу, были и у меня свои Пресновские страницы, и, не будь их, детство мое и отрочество вряд ли стали бы такими эмоционально наполненными и наверняка утратили бы немало свойственных этой поре привлекательных, не блекнувших с годами красок и замет.

А впрочем, как — не блекнувших? Память человеческая не столь совершенна, и время неумолимо берет свое, размывая, затушевывая четкие прежде контуры и очертания. Да и в жизни, в отношениях наших хватало всякого: случалось, мы очень подолгу не виделись. Но тогда, в первые послевоенные годы, на которые пришлось мое детство, он часто приезжал в Алма-Ату, хотя, привыкший к большим просторам, чувствовал себя в нашей тесной, малоуютной квартире на бывшей улице Иссыкульской беспокойно и, редко когда дотянув до месяца, улетал в Пресновку. Однако там, в глухи, он скоро начинал тосковать и присыпал мне письма, о которых хотелось бы сказать отдельно: ведь ничего, даже коротких фраз на открытке или на книге, не мог он писать походя, абы как: всякий раз, если уж брался, то вкладывал в них душу, частицу своего «я». Бывало, кто-нибудь, «поймав» Ивана Петровича в Союзе писателей или на улице, протягивал ему книгу, прося «черкнуть что-нибудь на память». Большинству литераторов подобные просьбы обычно льстят, а отца они приводили едва ли не в бешенство. Он поражался, как это невдомек любителям автографов, что принуждать вот так, мимоходом, без всякого «настроя» сочинять посвящения — просто безнравственно. Отделяться же стереотипными, мало значащими оборотами было глубоко противно его честной и цельной натуре.

Вот уже тридцать лет хранится у меня общая тетраль в твердом переплете — одно из редкостных свидетельств нашей тогдашней душевной близости. Озаглавлена тетраль: «Мое летнее путешествие. 1949 г. Алма-Ата — Москва — Подмосковье». Для меня, десятилетнего, то было огромное событие: впервые довелось вместе с отцом уехать так далеко и с его помощью открыть для себя новый, неведомый, поразительный мир. Ему было важно почему-то, чтобы я обязательно вел дневник и, несмотря на суматоху столичной жизни, он почти каждый день находил время, усаживался рядом за стол, терпеливо следил, как я пишу, и, конечно, многое мне подсказывал, что и делает теперь эти по-детски наивные и небезупречные с точки зрения правописания (мои грамматические ошибки отца особенно не волновали) записи своеобразным документом, окрашенным таким далеким, а потому — одновременно радужным и печальным светом.

Вот наиболее примечательные, на мой взгляд, записи из дневника с небольшими сокращениями:

«28 июня. Сегодня мы были в Союзе писателей СССР. Там был прием иностранных писателей, которые приезжали к нам на юбилей А. С. Пушкина. Потом мы обедали в Центральном Доме литераторов. Мы с маменькой ели шп, а папенька окрошку. В гостиницу мышли пешком. На улице М. Никитской мы видели дом, в котором жил А. М. Горький. В этом доме в гостях у А. М. Горького был в 1934 году мой пapa. Потом мышли по Тверскому бульвару. Папа говорит, что по этому бульвару гулял А. С. Пушкин. Я видел на этом бульваре знаменитый памятник А. С. Пушкину.

4 июля. Сегодня мы с папой ходили в издательство «Советский писатель». Мы поднимались на лифте на 12 этаж. Я был на крыше этого очень высокого здания на ул. Горького в Гнездниковском переулке, в самом центре Москвы. С крыши хорошо видно всю Москву. В этом издательстве будет печататься книга моего папы «Горькая линия».

5 июля. С папой были в Музее В. И. Ленина. Это очень красивый и большой дом на Площади Революции. В музее я видел много интересного. Я видел Похвальный лист уч. 4 класса Симбирской гимназии Володя Ульянова — Ленина. Володя учился только на пятерки. Я видел Золотую медаль, которую получил Володя Ульянов, когда он с отличием окончил гимназию.

Завтра я уезжаю в пионерский лагерь Союза писателей СССР, в подмосковное село Ильинское. Папа шутит, что я еду в лагерь моего имени.

8 июля. Мы с папой приехали в пионерский лагерь. Это лагерь детей писателей. Председатель нашего третьего отряда Юля Пушкина. Юля — праправнучка А. С. Пушкина. Мы с папой долго ходили по окрестным полям села Ильинского. Здесь очень красивые места. Папа говорит, что это настоящая природа нашей России. Она очень похожа на наш Северный Казахстан. Мы долго гуляли с папой по дорожкам во ржи, в которой много васильков.

12 июля. У нас в лагере был карнавал и торжественная линейка. Потом была военная игра. Ко мне приезжал папа и мы с ним много гуляли. Я видел поле, на котором в 1941 г. шла битва с немцами за Москву. Я видел подбитые фашистские танки, самолеты и разбитые орудия.

21 июля. В 2 часа дня мы с ребятами уехали из лагеря в Москву... Хорошо было в лагере. Я познакомился со многими московскими ребятами. В нашем лагере жила испанская девочка Санчес Лусита. К нам приезжал замечательный Кукольный театр артиста Образцова...

Конечно, многое осталось за прелестами этих записей, каждой своей строчкой говорящими мне об отце. Почему-то, скажем, не упомянул я в них о такой знаменитости, как сын Михаила Ботвинника, с которым отдохнул вместе в Ильинском, вполне возможно — даже в одном отряде. Может, потому, что, как и мой отец, я был равнодушен к шахматам. А иначе — мог бы расписать, как к нам приезжал всемирно известный гроссмейстер и дал сеанс одновременной игры.

Словом, знаменитости — знаменитостями, но я, впервые в жизни очутившись один вдали от дома, среди чужих, как мне казалось, чересчур заносчивых московских зазнаек, чувствовал себя до крайности тоскливо и однажды... тайком ушел на станцию, собравшись самовольно уехать на электричке в Москву. Трудно сказать, что бы за этим последовало и не пришлось бы мне повторить паяву приключений Травки (так называется хорошая детская книжка С. Розанова, которая отцу нравилась не меньше, чем знаменитые мусатовские «Стожары» или «Рыжик» Алексея Свирского), если бы меня тут же не вернули обратно. Заведующая, ошарашенная столь дерзостным моим демаршем, вынуждена была до

ближайшего «родительского дня» взять меня к себе. А когда, наконец, он настал, не без гнева изложила отцу суть моего «возмутительного поступка». Отец — для виду — согласно кивал, но в душе был рад, что я так тянулся к нему, иначе — разве забрал бы он меня из лагеря на целых две недели раньше? Ведь достать путевку в Ильинское стоило великих хлопот...

Кроме дневника, сохранились еще кое-какие документальные свидетельства той поры и среди них — почтовый конверт с послевоенными марками, надписью на машинке: «Илье Иванычу Шухову» и адресом отправителя: «Ст. Пресновская. Северо-Казах. обл.», а в нем — несколько на машинке же отпечатанных отцовских писем. Писались они глубокой осенью или зимой и почти все начинались с сетований на долгое мое молчание.

Перечитывая письма, совершенно своеобразные по языку и стилю, но каждым словом доступные детскому пониманию, не будучи в то же время специально «построенными» под него и в равной степени трогающие взрослых, каждый раз с сожалением думаю о том, почему отец так и не написал книгу для детей, о которой, по собственному признанию, он всегда мечтал. Внутренне он был давно готов к ней, с чем, хотелось бы надеяться, читатели согласятся, познакомившись с письмами, которые, как мне кажется, представляют самостоятельную художественную ценность. С такой надеждой я решаюсь предать огласке отрывки из тех раних доверительных отцовских посланий, воспроизведя их в хронологическом порядке с краткими пояснениями.

«Здравствуй, моя хорошая Улюшка!

Получил я ваше письмо. Вижу, что писать вам его не очень хотелось. Писали вы его потому, что маменька вас заставляла. Но вы мне пишите только тогда, когда вам самим захочется написать и когда станет совсем без нас скучно. Делайте так, как делаю я. Я никогда и ничего не пишу, если мне не хочется писать. Так лучше...

...Ашушке передавай от меня привет каждое утро. Вместо «Здравствуй, Ашушка», ты говори: «Тебе, Ашушка, обратно привет от папы!» (В нашем подъезде жила многодетная казахская семья; Ашу, или, как все его звали, Ашушка был одним из братьев, по годам — моим ровесником.— Ил. Ш.).

Напиши о том, как начнете вы учиться и как будут звать вашу новую учительницу. Я, знаешь, очень хочу арбуза. Ты, небось, ел уже? К моему приезду купите

очень большой и сладкий арбуз, чтобы я съел его на твою неделю. До свидания, моя хорошая.

Ты мое сердечко,  
Эх, выйди на крылечко.  
Без тебя тоскую я давно-о-о!

Известный ваш Паненка.

Пресновка.

26 августа 1948 года».

«Как-то вы поживаете там без нас, мои хорошие? Послезавтра вы уже пойдете в школу. И я завидую вам. Когда вы вырастете, вы тоже станете завидовать всем мальчишкам, которые будут ходить 1 сентября в школу. Потому что на всю жизнь вам запомнится этот осенний солнечный день и даже запах свежей краски и извести, которыми так хорошо пахнет осенью в школе. Я, например, до сих пор помню все на свете, связанное с первым днем начала занятий в нашей сельской школе. Будешь помнить всю жизнь и ты, если у тебя есть душа и сердце. А у тебя все это есть.

Я третий день живу в Пресновке. У нас уже запахло осенью. Озеро стало неприветливым, и дети перестали купаться. Дни стоят серые, ветреные. Ночи темные. Сад печально шумит по вечерам от ветра. И очень грустно мне вспоминать о том, что когда-то мы с вами играли в этом саду в войну, а теперь я один здесь брожу по пустынным аллеям...

...Нам-то очень скучно без вас. Мы садимся за большую и трудную работу. Мы будем много работать и все время думать о вас. А вы давайте учитесь и нынче отлично, как учились и в прошлом году. Зато весной мы зальемся с вами в наши мирные степи на все лето и покупаемся, и поиграем тогда в войну и в разбойники вволю.

Обнимаем вас, мои дорогие Илюшки, очень крепко и очень нежно. И целуем 21 000 раз!

Остаюсь вашим покорным и верным слугою.

Пресновка,  
30 августа 49 г.»

«Во первых строках нашего письма шлем мы вам плизкий поклон от всех наших северных степей и пашен, от нежаркого в эту пору нашего солнушки, от ласточек,

которые уже собрались к отлету, от ежей, которые узко начнут зарыватьсь в листья, от озера, которое б умолку и днем и ночью шумит и шумит под моим оном... Во вторых строках крепко, крепко обнимаем ви за ваше хорошее письмо, которое мы вчера только получили. Маменька говорит, что в письме вашем больш ошибок, чем слов. Ну, мы за это на вас не в обиде. Мы сами с такими ошибками порой пишем, что директор баш пришел в ужас. Я почему-то тоже боюсь маленько нашего директора.

Мы — ничего. Живем тут — как медведи в берлоге. Пишем свое сочинение. Прихварываем пемпожко. И много скучаем о вас и о маменьке. Позавчера какие-то ребятишки притащили мне ежа... На зиму он заснет в подполье. Там я ему отвел шикарную квартиру со всеми удобствами. А летом я его подарю тебе. Он уже буде совсем ручным и все станет понимать по-русски.

Больше новостей у нас никаких пока нету. В штабтвоем я как-то был. Все заросло и заглохло вокруг. И мне стало очень грустно... Вспоминаю, как хорошо на жилось с вами минувшим летом в гостинице «Москва» и как там все тебя звали Маленький Шухов, и как я ездил в гости к тебе в Ильинское, и как мы шлялись с тобой по дороге во ржи Подмосковья.

Ну, ничего. Поскудать в разлуке друг о дружке иногда хорошо и полезно. Настоящая дружба похожа на костер, а разлука — на ветер. Если дружба не настоящая, не большая, то разлука-ветер ее погасит, а если, наоборот, дружба большая, то разлука-ветер раздует ее в большой огонь, как раздувают степные наши ветры в пожары маленькие костры в степи... Правильно?

Пишите нам с маменькой почаше.  
И звоните по воскресеньям.

Пресновка  
16 сентября 49 г.»

«Здравствуй, моя хорошая! Редко вы с маменькой пишете письма мне. А я без вас и без ваших писем совсем соскучился. Погода у нас — не разгуляешься. Дождь. Ветрище — не прдохнешь. Стужа. Снег даже падал. Но это еще просто так, не зима. До зимы еще далеко. Леса еще не обнажились. Стоят все в золоте, в ярких осенних красках. Месяц народился озорной, тонкий, веселый. Стары люди говорят: «Месяц на рогу — к вёдру. Быть ишо хорошей погоде перед снегопадом».

Еж обжился у нас. Хозяйничает... Заходит ко мне в кабинет. Сидит и слушает, как я стучу на своей машинке. Очень понимающий еж!.. Бобка с ним не ладит — дружба не берет. Потому что у ежика очень колючие иглы, а Бобка этого еще не знал и наколол морду. Поэтому теперь все время на ежика почуству лает. Ежик сначала тоже сердился на Бобку. Потом понял, что собака еще не смысленная, ума у ней не палаты, и перестал обращать на нее внимание.

Позавчера утонул в нашем озере старый рыбак. Это был замечательный дед 86 лет. Я его очень уважал. Мы с ним дружили. Его застала на озере буря, когда он поехал снимать свои сети. Ветер поднял большой вал. Лодку вынесло из камышей и поперло в открытую воду. Дед был старый, силы у него — не ахти. Не справился с непогодой. Ну, лодку бросало, бросало по волнам из стороны в сторону, а потом и перевернуло. Дед хоть и умел плавать, да с перепугу силы оставили его, и он утонул. Мне очень жалко старика. Неунывающий был человек. Очень трудолюбивый. Шутник. Любил деревенских ребят. Ребятишки тоже души в нем не чаяли. Вот какое печальное событие случилось у нас на озере в испогожее утро позавчера.

Напишите мне, Улюшки, письмо про свое житье-бытье и про школу. Много ли у вас пятерок? Не передают ли грехи делом двойки? Ходили ли вы с любезной нашему сердцу маменькой на спектакли кукольного театра Образцова? Если ходили, я вам очень завидую. Это превосходный театр, а С. Образцов очень талантливый человек, почти такой же талантливый, как талантливы его куклы!

Пресновка.  
28 сентября 49 г.»

«Крепко, крепко целую я тебя, моя ты хорошая, за твоё письмо. Очень мне приятно, что ты отличник, что решаешь теперь такие трудные задачи, которых подчас и маменька наша не может решить. Ну, а мне — уж куды там!

Я живу по-прежнему. Много работаю. Очень мне трудно бывает здесь одному. У нас теперь настоящая зима. Сугробы в саду. Метели. Зайчишки к нам бегают в сад вечерами кормиться корой молодых тополей — это их любимое лакомство. Волков тоже много. На днях мне рассказали, что в соседнем селе Казанском волки забра-

лись ночью во двор к одному старику и задушили двух овец, а трех увяли живыми! Водят они овечек так: берут зубами за ухо, а хвостом понужают, и овечки покорно рысцой бегут туда, куда их ведут звери. Вот какие хитрые и умные эти хищники!

Ежик совсем заспался. В него теперь можно играть, как в футбольный мяч, он все равно не проснется. Кот Никита совсем обленился, тоже все время спит и только редко по вечерам сказывает мне разные свои сказки...

...До свиданья, мой ангел. Руки чешутся — хочется с вами подраться. Целую вас несчетно раз. Баушке поклон сказывай. Передай от меня привет директору школы и твоей учительнице.

*Пресновка.  
25 ноября 49 г.»*

«Здравствуй, Илюшка!

Долго же я ждал твоего письма — битых два месяца. Но теперь вижу, что не дождаться и в полгода. Ну-да, видно, во мне у тебя на время отпала и ты разумно решил, что я проживу и без твоих писем. В обиде на тебя и Михаил. Пока, говорит, я его учил на машине, он обещал мне золотые горы, а как уехал — письма забыл написать. И он прав, разумеется. Надеюсь, ты сам понимаешь, сколь это дурно.

Ну, ладно. Понять дурное — наполовину исправить его. Думаю, что ты исправишься не на половину, а «весь и сразу», как говорит Генка. (Один из моих деревенских друзей.— Ил. Ш.).

...Михаил после праздников уедет, видимо, на Волгу и вряд ли вернется к весне, хотя и обещает вернуться. Очень мне грустно расставаться с ним. Человек он — редкой души, открытый, доверчивый, как ребенок...

...Генка гоняет теперь по утрам на водопой корову и по-прежнему лихо свистит, когда проходит мимо нашего дома,— это, чтобы услышал я. Я слышу. И мне всегда становится грустно при этом. Я вспоминаю минувшее знойное лето, веселые наши игры в саду, на озере, и меня очень трогает привязанность Генки ко мне...

...Передай от меня привет Еркашке с Ашу и Нурлашкой. О них я часто вспоминаю почти с такой же грустью и нежностью, как и о тебе...

*29 октября 52 г.  
Пресновка».*

«Долго же ты собирался написать мне письмо, а еще дольше шло оно до меня. Получил я его только после праздников. Очень оно обрадовало меня. Огорчили только твои пебаские отметки за 1-ю четверть. Но я убежден, что во второй четверти ты все их исправишь. Двойка по физкультуре — это уж совсем позор для мальчишки! Я просто не понимаю, в чем тут дело. Ужели ты так разленился и расхил, что не в силах был проделать нехитрые упражнения на трапеции или на кольцах? Ведь из Пресновки уехал ты совсем ладным, крепко сбитым, окрепшим. А тут вот тебе на — двойка! Из-за этого я и Михаилу не показал твоего письма, а только прочитал ему его, опустив это место...

...У нас начались правильные, как Михаил говорит, морозы — по 40 градусов с гаком. По ночам дом наш буквально гудит — это поют провода и стонут трубы. Несмотря на это, я каждое утро выбегаю без рубашки в сад и натираюсь до пояса снегом...

...Генка передает тебе привет... Одет он очень плохо, не в пример Вовке. (Своему сводному брату.— Ил. Ш.). У Вовки — хорошее пальтишко и новые нимы, у Генки — старые отцовские сапоги и худая кущая куртка. Он в школу ходит все в той же беленькой рубашонке с короткими рукавишками, в которой бегал летом. Ты обязательно напиши ему письмо. Дружбой с таким товарищем надо дорожить и беречь ее.

С нетерпением жду «Глинку». В кино, как ты знаешь, я здесь не хожу. Но эту картину готов смотреть все сеансы подряд. Не знаю сам, почему она так меня тревожит и волнует.

Я нигде не бываю совсем. Сижу и работаю. Много читаю. Много пишу. Что из этого выйдет, увидим. Глаз мой левый совсем закрылся, даже дневного света не вижу им. Пора ложиться бы на операцию. Но как вспомню о пережитых моих страданиях, так оторопь берет, и вот все тяну и тяну. (Двумя годами раньше отец перенес операцию на правом глазу.— Ил. Ш.). Хочу дотянуть до

«Сейчас я работаю над книгой мемуаров,— сообщал Шухов в заключение.— Хочу написать в ней о людях, встречи с которыми стали для меня не только запоминающимися и радостными, но служили творческим стимулом. И, конечно же, особо хочется рассказать о дружбе с Михаилом Александровичем Шолоховым, личность и творчество которого являются для меня предметом восхищения и гордости».

Осуществить этот замысел, как и многие другие, отец, увы, не успел...

Вернемся, однако, к съезду. Настроение у Ивана Петровича было приподнятое. Он выглядел бодрым, можно сказать,— окрыленным: после длительного молчания появились в центральных газетах его очерки о людях целинного края, и, пожалуй, тогда не существовало в художественной публицистике темы более важной и благодатной, чем грандиозная целинная эпопея, только еще начинавшая развертываться в бескрайних степях Казахстана и Алтая. В одном из очерков того же 54-го года он признавался, что «вновь обрел счастливую жажду к бессонной, нервной, радостной и мучительной работе...», испытав затянувшийся творческий кризис, «который с такой беспощадной прямотой и правдивостью большого художника описал Александр Твардовский в своей превосходной поэме «За далью — даль». И не я ли в числе прочих пережил такое время!

Когда был всеми дружно встречен,  
Самим Фадеевым отмечен,  
Пшеном в избытке обеспечен,  
Друзьями в классики намечен,  
Уже почти увековечен,  
И хвать писать — пропал запал.  
Пропал запал! По всем приметам,  
Твой горький день вступил в права.  
Все — звоном, запахом и цветом —  
Тебе нехороши слова...

«Нет, не в укор и не в оправдание себе,— писал Иван Петрович,— привожу я удивительные эти строки, а в подтверждение той горькой правды, которую высказал за многих из нас большой поэт, в свидетельство того неизвестного душевного состояния, в котором пребывал долгое время и я...»

Не знаю точно, как насчет «пшена» (раньше в письмах из Пресновки отец нередко сетовал на стесненные материальные обстоятельства), а вот критика все эти годы совсем не баловала его своим вниманием. Более того, отчетливо помню напечатанную в одной республиканской газете не слишком-то корректную карикатуру вместе с бойкой эпиграммой по поводу того, что «у Шухова Ивана нету нового романа».

И хорошо, что тягостная эта полоса осталась позади, и Иван Петрович, вдохновленный теми животворными переменами, которые принесли в деревню программные документы сентябрьского Пленума Центрального Комитета партии, ощутил тягу «к активному вторжению в эту полную новизной жизнь» и вернулся к творческой работе, по какой вдоволь натосковался. И в те дни золотой алма-атинской осени жил радостным, волнующим ожиданием предстоящих дальних дорог, встреч с покорителями целины, новоселами в дорогом с детства его сердцу крае, разбуженном индустриальным гулом великого народного наступления на древние казахстанские степи.

На память он подарил мне свежие съездовские фотографии. Вообще-то он не любил фотографироваться, но тогда — под настроение — снялся вместе с друзьями-писателями — Шолоховым, Сабитом Мукановым, Павлом Кузнецовым, Елизаром Мальцевым...

Спеша к героям своих будущих целинных очерков, отец улетел в Петропавловск, кажется, на другой же день после окончания съезда. И хотя в наших разговорах мы не касались дальнейших жизненных планов,— как-то, не сговариваясь, старались обойти эту трудную тему,— у меня, под впечатлением тогдашнего отцовского оптимизма, появилась надежда, что скоро все образуется.

Так оно и получилось. В самом конце пятидесятых годов он сдал государству свой пресновский дом, переехал в Алма-Ату, и отношения наши наладились.

Завершающая эта пора оказалась для отца довольно ровной в обыденном смысле и плодотворной — в писательском. Вместила она многое: поездки за рубеж, одиннадцать лет работы во главе «Простора», а значит — и заинтересованного участия в делах не только литературных, но и общественных, государственных, и — самое важное для писателя — новые книги, из которых последняя — «Пресновские страницы», как известно, нашла большое признание, удостоилась Государственной премии Казахской ССР.

Характерным мне кажется эпизод, относящийся к концу пятидесятых годов — времени моего учения в университете. Ежегодно мы выезжали, как принято сейчас говорить, на свой трудовой семестр — уборку урожая — в целинные совхозы.

Один из таких семестров проходил в отдаленном Кийминском районе. Привезли нас туда тем летом рано, задолго до начала жатвы, и мы, до поры до времени, были заняты на разных подсобных работах. А когда, наконец, страда началась, однажды на току, где мы перелопачивали зерно, я неожиданно увидел отца. Он приехал специально — повидаться, узнать о моем житье-бытье. Обрадовался я его приезду несказанно. А тут как раз резко испортилась погода, пошли дожди, и работа на току приостановилась. Отец собрался в Кийму. Я вызвался проводить его до райцентра и, получив дозволение своего начальства, поехал туда вместе с отцом.

В Кийме нам, однако, не повезло: два дня стояла исключительная погода, самолета не было и, пока его ожидались, я, как на грех, заболел. Мест в тамошней маленькой больнице не оказалось, и мы вдвоем пошли в штаб студенческих отрядов посоветоваться, что мне делать дальше. Руководитель штаба, из почтения к Ивану Петровичу, отнесся ко мне с полным вниманием, вошел в по-

ложение и, учитывая сложность ситуации, разрешил лететь домой, с тем, чтобы после выздоровления я вернулся обратно. На том и порешили. Погода, к счастью, наладилась, и мы отбыли в областной центр, а оттуда — в разные стороны: я — в Алма-Ату, отец — в Пресновку.

Дома здоровье мое вскоре поправилось, и я пошел в университет. В деканате мне сказали, что не будет ничего предосудительного, если время, оставшееся до окончания трудового семестра, я отработаю в городе на одной из студенческих строек.

Однако дома меня ждала отцовская телеграмма — лаконичная и строгая: «Предлагаю немедленно вылететь согласно моей договоренности месту работы. Одновременно телеграфирую ректору университета».

В тот же день я купил билет на ближайший рейс и поздно ночью вылетел на целину. И с легкой душой работалось мне потом вместе с сокурсниками до последнего дня уборки, и радостно было возвращаться домой с сознанием своего до конца исполненного долга.

Нет, все-таки он был тысячу раз прав тогда, преподав мне хороший нравственный урок — урок верности твердому мужскому слову.

...А отцовские письма на плотной пожелтелой бумаге щемяще напоминают о лучшей поре детства. Они — частица неповторимых, навсегда со мной остающихся, моих Пресновских страниц. Память о человеке сложном, беспокойном, порой по-житейски «неудобном» и трудном, но при всем том — это особенно видно теперь — бесконечно мягким, доверчивом, добром какой-то подкупающе трогательной, земной добротой. Он сам мучился от раздвоенности, неспособности благополучно устроить быт, но, мучаясь, внутренне стремился не к разладу, а к гармонии — к такому мнению приходишь, перебирая связанные с ним важные и обыденные факты, события, подробности.

Он тянулся к простым людям, а тех, в свою очередь, видимо, привлекали его открытость, благожелательность

к собеседникам, непоказной, природный демократизм. Наверное поэтому столько доводится слышать об Иване Петровиче теплых,уважительных, а то и восторженных слов от разных — знакомых и незнакомых людей.

Вспоминают, как любил он перекинуться словцом, говоря, напрямую, «без придум», то, что думал. Как умел метко, но не обидно «поддеть» других и сам — посмеяться шутке. Как ходил в любую погоду, зимой и летом, налегке, ворот — параспашку, меньше всего заботясь о внешней респектабельности. И шло это не от неряшливости: просто, зная толк в изящных, добрых вещах, он никогда не возводил их в абсолют, почитая в жизни совсем иные ценности.

Сколько помню, любовно относились к отцу и простые труженики земли, и, наверное, есть своя символика в том, что именем Шухова в Алма-Ате отныне называется не какая-нибудь иная, а бывшая Крестьянская улица. И на родине, в Петропавловске, тоже есть теперь улица его имени.

...А в опустевшем отцовском кабинете все остается, как было в тот скорбный день, когда хозяин ушел отсюда навсегда. На письменном столе лежит номер журнала «Румыния» — о постигшем страну землетрясении. Во всю обложку снимок: стена разрушенного дома, на ней — часы с замершими от мощного толчка стрелками. Эта и другие не менее трагичные фотографии глубоко поразили отца — он никогда не оставался равнодушным к людским страданиям и боли.

На низком журнальном столике со стилизованной под старину лампой все так же соседствует книжка карамзинской «Истории...», а в шкафу стоят тома «Толкового словаря» Даля — к ним отец обращался постоянно.

В одном из ящиков письменного стола хранится копичневая книжечка — членский билет Союза писателей СССР за номером 733. Ниже номера помечено: время вступления в Союз — 1 июня 1934 года и подпись: «Председатель — М. Горький». Первый писательский билет Ивана Петровича...

А вот подлинники трех адресованных ему горьковских писем отец почему-то никогда никому не показывал. Обнаружили мы их лишь недавно и — совершенно случайно. Два из них отпечатаны на машинке (причем, первое — на обеих сторонах листа: по-видимому, сказывался острый дефицит бумаги), третье, короткое, написано от руки характерным мелким, но вполне разборчивым почерком.

Вместе с критическими замечаниями в письмах великого писателя содержится и немало лестных для Шухова слов. Так отчего же столь старательно сохранял он эти горьковские послания в тайне от всех, не исключая даже близких. Кто знает...

Свое отношение к Алексею Максимовичу он выразил так: «Если говорить о счастье, подаренном мне не щедрой на него жизнью, то я обрел его в далекой зоревой моей юности в общении с Горьким, встречах с ним.

Этому великому имени я — как, видимо, и многие иные писатели моего поколения — обязан всем, что есть во мне и в писаниях моих доброго, теплого, светлого».

Это высказывание об основоположнике советской литературы, дорогом для Шухова писателе и человеке, было напечатано в «Казахстанской правде» 28 марта 1968 года.

А книги... Отец держал их на виду, под рукой, но, как уже говорилось, не для антуража. Когда-то, в Пресновке, была у него довольно богатая библиотека; здесь же осталась от нее лишь маленькая частица. Остались книги — дорогие старые друзья, а их, старых друзей, как водится, бывает так немного...

...Чем ближе к окончанию мои заметки, тем чаще вынужден я повторять одно и то же печальное слово. Последнее письмо. Последняя встреча. Последний разговор... И каждое из подобных событий — также по известным законам восприятия — запечатлева-

лось в памяти особенно четко, до мельчайших подробностей.

В этом ряду памятно мне и выступление Ивана Петровича с общественной трибуны в апреле 76-го года. Оно привлекло к себе большое внимание, тем более, что отец выступал перед слушателями крайне редко.

Было это на объединенном пленуме творческих союзов Казахстана. Речь здесь шла о гражданском долге, ответственности литераторов, деятелей искусства республики перед народом. Отец был по годам, пожалуй, самым старшим из ораторов, но речь его отличалась взволнованностью, свежестью, внутренней экспрессией. В зале было много молодежи, и убежденное, озабоченное слово писателя старшего поколения могло быть воспринято ею как своеобразный завет.

О чем же говорил тогда Иван Петрович? О книгах Шолохова, Гладкова, Паустовского, Эренбурга, Мариэтты Шагинян и других, «вошедших в алмазный фонд отечественной литературы. Это — «Поднятая целина», «Разбег», «Люди из захолустья», «Цемент», «Танкер «Дербент», «Кара-Бугаз», «День второй», «Гидроцентраль». О том, что эти вещи были написаны авторами по горячим следам великих свершений, вопреки всяким теориям о так называемой дистанции времени.

«Припоминая эти имена и эти обогатившие нашу литературу произведения — художественную летопись времени,— подчеркивал Иван Петрович,— я хотел, чтобы пынешнее молодое поколение наших литераторов, по примеру своих старших собратьев, не забывало о главном стимуле творческого горения — связи с жизнью, с людьми труда. Только такие непосредственные контакты художника с окружающей действительностью порождают благородное, чистое искусство сопричастности к знаменательным делам и событиям в жизни нашего государства».

Дальше Иван Петрович коснулся глубоко волновавшего его вопроса — о партийной и гражданской этике

художника, о необходимости оценивать художественные творения строгой горьковской меркой, помнить о золотых горьковских традициях.

...Год 1977-й — а в жизни Ивана Петровича — семьдесят первый — начался довольно сумбурно, с неожиданных, будоражащих событий: присуждения премии, скоропалительной поездки в Москву...

Наступил апрель. Отец, как всегда, вставал рано, и я по дороге на работу порой забегал к нему на минутку — занести утренние газеты, наскоро перекинуться словечком. Выглядел он для его возраста по-прежнему хорошо, на здоровье, по привычке, не жаловался. И разговоры мы вели обычные, повседневные, о том о сем, и вечные будничные заботы не позволяли задержаться и поговорить подольше. Да и разве могло мне прийти в голову, что время наших встреч уже сочтено...

Да, внешне как будто ничего не предвещало внезапного скорбного конца.

Тогда, скажем, я не придал значения такой детали: верявшись из Москвы, Иван Петрович стал вдруг как-то особенно ревностно относиться к тому, что читал мой старший сын — школьник. Ему хотелось, чтобы тот прочел сказку С. Т. Аксакова — писателя, которого, по собственным его словам, он открыл для себя и полюбил уже в зрелые годы. Он сам положил сказку Андрею на столик и украдкой следил, чтобы тот не откладывал ее ради какого-нибудь, проглатываемого им с непостижимой быстротой, занимательного приключенческого чтения.

Потом, что и вовсе уж удивительно, предложил сыну прочитать повесть о детстве из своих «Пресновских страниц». Меня же, сколько помню, он ни разу не просил о чём-либо подобном, и когда однажды, прочитав «Горькую линию», я стал передавать свои впечатления, он принял это не то чтобы совсем безразлично, но как-то спокойно и легко перевел разговор совсем на другое.

А тут вдруг — такой поворот. Ему потребовалось, чтобы мальчишка сейчас, во что бы то ни стало узнал о его, Ивана, деревенском детстве, отчём доме, родителях,

словом,— о заветном, кровном, изначальном. Вот так же когда-то следил он, чтобы я, третийклассник, занесил впечатления о летней поездке в свой московский дневник...

Что еще?.. Светлым солнечным полднем посидели мы немного вдвоем на скамейке в сквере у Дома писателей: тогда я и подарил ту самую книгу стихов о природе. Говорили совсем мало: дышалось ему с трудом.

В середине апреля внезапно тяжело заболел родственник моей жены. С каждым часом ему становилось все хуже, и двадцать четвертого на рассвете он умер.

Нелегко было смириться с этим: человек в возрасте, но еще не старый, он буквально за день до болезни работал с полной нагрузкой — читал лекции по геодезии в институте, которому посвятил всю свою до краев заполненную трудом жизнь.

Тихим ясным утром двадцать шестого мы собирались перед похоронами в маленьком домике на окраине города. Вскоре подъехал и отец. Покойного Евгения Петровича он знал около пятнадцати лет. Встречались они изредка, в основном по праздникам, в домашнем кругу. Но в эти редкие часы Евгений Петрович сбрасывал с себя груз академических забот и, по характеру довольно замкнутый, на время преображался, любил побалагурить, и пошутить, и попеть. Отец его уважал, называл «мировым мужиком», а это в его устах всегда звучало едва ли не высшей похвалой.

Войдя в тесную, заполненную людьми комнату, Иван Петрович с минуту постоял у гроба. Потом мы вместе вышли в проулок. Отец молчал, только коротко, глухо покашливал, что, как я давно заметил, служило у него признаком глубокого смятения. Так же молча вернулись и присели в саду у дома на вынесенные кем-то табуретки. Припекало, на солнце поблескивали молодые, только что распустившиеся листья вишнен. Мелькали над кустами бабочки. Гудели шмели. Словом, все вокруг заявляло о жизни, возрождении, и душа противилась тоскливым, безрадостным думам.

Такое ощущение, во всяком случае, испытывал я. А что чувствовал, о чем размышлял отец? Как знать... Мы стали неспешно разговаривать, но только не о самом событии, которое свело нас в ту горестную минуту, а о чем-то малозначительном.

Вскоре к нам подошла вдова, и он сказал ей: «Ну, я сейчас пойду, а дня через три обязательно к вам приведу».

Я проводил отца до такси.

Через три дня его не стало...



## **СОДЕРЖАНИЕ**

**ДОРОГА К ДОМУ — 3**

**СЛОВО ОБ ОТЦЕ — 144**

**Илья Иванович Шухов**

**ДОРОГА К ДОМУ**

*Повесть и воспоминания*

**Редактор**  
*К. Молдагалиева*

**Художник**  
*К. Тлеғенов*

**Художественный редактор**  
*Л. Тетенко*

**Технический редактор**  
*Л. Мұлкебаева*

**Корректор**  
*Т. Сажина*

**ИБ № 3876**

Сдано в набор 07.01.88. Подписано в печать 31.10.88. УГ 18315. Формат  
84×108<sup>1/2</sup>. Бумага белая. Гарнитура «Литературная». Пе-  
чать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,16. Уч.-изд. л. 12,37. Тираж  
50 000 экз. Заказ 1863. Цена 80 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазуши» Государственного комитета  
Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124.  
г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий  
«КИТАП» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

**Шухов Илья.**

**Ш 98 Дорога к дому: Повесть и воспоминания.— Ал-  
ма-Ата: Жазушы, 1988.— 224 с., ил.**

Главный герой одноименной повести — молодой учитель, впоследствии журналист и литератор. Кирилл Шумилов в сложных коллизиях современной жизни проходит школу нравственного становления.

В книгу вошли также воспоминания автора об отце, писателе Иване Шухове.

**Ш  $\frac{4702010200-209}{402(05)-88}$  143—88**

**ББК 84Р 7—5**

Дорогие читатели!

В 1989 году издательство «Жазушы» выпустит в свет следующие книги:

1. Рожицын Ю. «Прощеный день». Повести.
2. Никольская А. «Передай дальше». Повесть, рассказы.
3. Трифонов Ю. «Дом на набережной». Роман, повесть.

80 κ

